

Дина Сабитова. Где нет зимы

У Павла и Гуль были бабушка, мама и чудесный старый дом свидетель истории их семьи. Но все меняется в одночасье: бабушка умирает, мама исчезает, а дети оказываются в детском приюте. В новом романе для подростков Дина Сабитова, лауреат премии «Заветная мечта» за повесть «Цирк в шкатулке», говорит о настоящих ценностях: только семья и дом в современном мире, как и сто лет назад, могут дать защиту всем людям, но в первую очередь тем, кто еще не вырос. И чувство сиротства, одиночества может настичь не только детей, оставшихся без родителей, но любого из нас, кто лишен поддержки близких людей и родных стен. Павел тринадцатилетний подросток, но именно его Сабитова наделяет его почти инстинктивным чувством ответственности за семью. Он уверен, что пока стоит на месте их Дом, они с Гуль не сироты. И эта убежденность помогает преодолеть детям все препятствия, чтобы в итоге вернуться в него.

Павел

— Посиди в моей комнате. Я не хочу засыпать одна!

Гуль устроилась в кровати, водрузив на колени огромный том «Снежной королевы». Когда моя сестра читает, она пока еще водит иногда пальцем по строке, а порой и шевелит губами.

Я сижу у нее в ногах и тоже читаю.

— А что, северные олени на самом деле такие большие?

Отложив книгу, смотрю, какие северные олени «такие большие». На картинке олень, в самом деле внушительный, скачет через всю страницу, и кажется, что он размером с лося.

— Олени вроде бы меньше лошади... Но, Гуль, зачем ты опять облизываешь книгу?

У моей младшей сестры есть дурацкая привычка — Гуль оближивает цветные картинки в книгах. «Так они становятся очень яркие и блестящие».

Сестра смотрит на меня виновато и пытается просушить страницу рукавом пижамы.

Я укоризненно вздыхаю и возвращаюсь к своему роману.

Через десять минут я вижу, что Гуль уснула, выронив книгу и даже не пожелав Ляльке спокойной ночи. А ведь это ее священный ежевечерний ритуал, она его не пропускает.

Мне не спится.

Мы с Гуль одни в доме. Не считая, конечно, Ляльки.

Где-то раздаются шорохи и скрипы. В нашем доме всегда так, ведь он очень старый, ему уже лет сто. Развалюха, если честно. У нас даже газ не проведен, мы печку топим дровами. Я тут живу всю жизнь, мама тут жила всю жизнь и бабушка тоже...

Даже себе не хочу сознаваться, что сейчас эти звуки меня пугают. Хотя, может быть, в тишине стало бы еще страшнее.

Прошло уже три недели с того дня, как умерла бабушка. И каждый вечер мама уходит куда-то, оставляя нас с Гуль одних.

Я ругаю себя за то, что боюсь. Мне все же не восемь лет, как глупой Гуль, а тринадцать. Но обрывки тревожных мыслей начинают бродить у меня в голове сами по себе... Можно, конечно, читать — это очень отвлекает до поры до времени, но все равно настает момент, когда надо выключить свет, закрыть глаза. Тут-то мысли и набегают.

Но вот что я понял. Когда мысли приходят сами по себе и уснуть из-за этого очень трудно — надо начать думать специально. Вспоминать что-нибудь очень подробно, как будто смотришь кино. Или нет, лучше — как будто пишешь книгу. Крутишь в голове предложение, словно читаешь его в книге, а потом вдруг понимаешь, что мысли начали путаться, и ты повторяешь какое-то слово, повторяешь, повторяешь, а предложение рассыпается и ускользает от тебя. А потом уже наступает утро.

Буду думать про бабушку.

Мою бабушку звали Александра Васильевна Соловьева. Она была портнихой. Работала она в жизни много кем — и в столовой, и в больнице, и на заводе, но главное — шила на заказ. Говорят, лет сорок назад моя бабушка была городской легендой и заказчицы приходили к ней «по рекомендации».

Дома мы звали ее Шурой. Шура много курила, любила петь, терпеть не могла готовить. И еще у нас с ней одинаковой формы нос и уши.

Бабушку многие считали немного того. Основания для этого были.

Расскажу один случай, чтоб вы поняли, что я имею в виду.

Надо было выпустить стенгазету к очередному Дню учителя. В школе нельзя: мы же вроде как делаем сюрприз учителям.

Потом этот «сюрприз» отправляется в шкаф в учительской: там уже пылятся рулоны этих газет лет этак за пятьдесят.

Я предложил свистнуть оттуда старую газету, подреставрировать, а дату просто замазать — эти газеты все на одно лицо. Кто вспомнит, что такая уже была десять или двадцать лет назад?

Разумеется, мне сказали, что я дурак и идея моя глупая.

А по-моему, очень хорошая мысль — мы бы сэкономили кучу времени.

Девчонки нашли ворох каких-то открыточек с глобусами, кленовыми листьями, портфелями и прочим подходящим по теме.

Наш дом ближе всех. Поэтому пошли ко мне.

Ватман сперва расстелили прямо на полу в моей комнате, но оказалось, что полы кривые. Дом у нас старый, с дощатыми полами, и доски горбатые, неровные. Так что рисовать на полу никак нельзя. А письменные столы и кухонный не годятся — они у нас совсем маленькие.

Мы просто не знали, что делать. Мне было как-то неудобно, что такие полы, хотя я, конечно, в этом не виноват.

И тут вышла бабушка... С вечной сигаретой в мундштуке.

Бабушка всегда курила сигареты не так, как все нормальные люди, а совала их в мундштук.

Маму это раздражало. Она постоянно говорила Шуре, что мундштук — мужской аксессуар. А бабушка отвечала, что ее хрустальная мечта — курить трубку. И что, когда она наконец заведет себе трубку, мама еще вспомнит, как прелестно выглядел ее янтарный мундштук. «Девичья игрушка, — усмехалась бабушка, — ты, Маруся, просто ничего не понимаешь в женственности».

Девчонки, увидев бабушку, слегка остолбенели. Нет, они, конечно, вежливо поздоровались, но при этом...

Дело в том, что бабушка моя очень любила яркие платья. И сшила себе чуть ли не двадцать платьев по одной выкройке: с глубоким вырезом спереди, голыми плечами и длиннющей широченной юбкой. Юбка с оборками, а расцветка такая, что мимо не пройдешь. На этот раз платье было с огромными макаками по темно-зеленому фону.

— Тебя принимают за старую сумасшедшую цыганку! — сердилась на бабушку мама.

— Что ж, пусть тогда меня украдет какой-либо табор, — хихикала в ответ бабушка. — «Я уйду с толпо-о-ой цыга-а-анок за киби-и-иткой ко-о-очевой!» А в черный день буду зарабатывать на улице — гадать прохожим. Чем плохо?

Кстати, гадать на картах бабушка очень даже хорошо умела и любила, мне всегда казалось, что насчет черного дня она не шутит.

Так вот, вышла к нам бабушка в маковом платье с дымящимся мундштуком в руках и спросила меня важным неторопливым басом:

— Борька! Что за нашествие прекрасных девиц в наш скромный уголок?

— Шура, — вздохнул я, — нам надо делать газету.

— Ну и в чем же проблема?

— У нас пол кривой, Шура. Ватман разложить негде.

Бабушка посмотрела на нас, задумчиво покрутила мундштук, а потом сказала:

— Только потом все убрать, Борька! Чтоб краски — нигде-нигдешеньки ни капли!

И развернулась, поманив нас за собой.

Я сразу понял и ужасно обрадовался.

В комнате у бабушки стоял стол, на котором бабушка кроила. Ровнехонький и такой большой, что на нем спать можно было в полный рост, не то что ватман расстелить.

Девчонки как в комнату бабушкину попали, так начали озираться, будто это музей.

— Ой, — говорит кто-то из них, — манекены без головы. Это для шитья, да?

— Да, — говорит бабушка, — знакомьтесь: Дуся, Люся и Нюся.

У бабушки в углу три манекена — на три разных фигуры.

Дуся самая старая, у нее уже и швы все вытертые, и на животе заплатка. Бабушка ее на помойке нашла. Редкая удача: тогда, после войны, портновский манекен никто так запросто не выбросил бы. Но Дуся уже и в те годы была ветхая, и подставка у нее отломилась, а главное — кто-то вспорол ей живот, так что начинка из нее сыпалась. Бабушка Дусю домой отволокла, помыла, живот заплатала, а кто-то из бабушкиных знакомцев подставку новую смастерил. И стала ветхая Дуся у бабушки жить, в креп-жоржет и файдешин наряжаться.

Люся шла в соседнем ателье под списание. Ателье закрывали, и директорша его предложила бабушке забрать старый манекен. С этой директоршей было совсем смешно: она на саму себя у своих мастеров не шила, а носила все к бабушке. Ателье было передовое, молодежное, швей туда

брали сразу после училища, у них то собрание комсомольское, то субботник, а шили, бабушка говорила, так себе. На нестандартную фигуру шить даже и не брались. А бабушка бралась и директоршу, даму внушительной красоты весом в сто двадцать кило, обшивала так, что нигде не морщило.

— Она у меня как картинка ходила, батальное полотно восемь-на-семь, — смеялась бабушка, вспоминая ту дарительницу манекена.

А Нюся молоденькая была. Ее продавали на рынке.

— Характер Нюсин мне понравился, — рассказывала бабушка. — Стоит скромненько так, молчит, на меня искоса поглядывает, а я-то чую, куда клонит. Возьми меня, мол, думает, возьми, вон я какая красавица...

— Шур, ну что ты глупости говоришь! «Смотрит, думает...» Она ж без головы у тебя! — возмущался я, когда был маленький.

— Сам ты без головы, Борька. Бываешь порой. Эх, что бы ты понимал!

Бабушка очень серьезно излагала девчонкам историю своих «барышень», и теперь я насчет «все это глупости» помалкивал. Теперь я с Шурой согласен: Дуся, Люся и Нюся, конечно, собеседницы плохие, но характеры яркие.

Девчонки слушали, головами крутили, пока наконец Кира не опомнилась:

— Ой, нам ведь газету надо делать!

Кира вообще в этой компании самая организованная.

И самая умная.

Но про Киру я потом расскажу, сейчас про бабушку.

Газету мы в тот раз сделали быстро, за час. Листья и открытки наклеили, учебники всякие нарисовали, в центре красивым почерком написали стихотворение подходящее: «Не смейте забывать учителей!»

Мне это стихотворение не понравилось: начинается прямо с лозунга, с повелительного наклонения, — но выбирала Кира. Кира у нас вообще с сильным характером, ей такое стихотворение под стать.

Опять я про нее. Решил же — сначала дорассказать про бабушку!

Ну, в общем, начало уже смеркаться, бабушка зажгла настольную лампу, поставила ее на пол — стало таинственно. Меня она отослала:

— Иди, Борька, приготовь нам чайку, что ли...

А когда я вернулся с закипевшим чайником, в комнате было ужасно накурено и бабушка пела девчонкам романсы.

Когда и как они перешли к пению, я с кухни не слышал, но сейчас Шура исполняла мужскую арию.

— Скажите, девушки, подружке ва-а-а-ашей, что я ночей не сплю, о ней мечта-а-а-аю! — выводила она своим хриплым басом, сидя в старом продавленном кресле, отведя руку с мундштуком в сторону и запрокинув лицо. Пела Шура всегда с закрытыми глазами и открывала их только тогда, когда закончит или когда собьется в тексте.

Покончив с этой историей про нежную страсть и цепь, она открыла глаза и спросила: «Еще?» Девчонки закивали.

— А вот было такое кино, «Петер». Знаете? Нет, вы не помните, вы малявки... Потом я купила пластинку с этим танго.

Шура опять закрыла глаза, но завела на этот раз неожиданно тонким голосом:

...Скользи легко, Танцуй танго И слушай плавные ритмы Далеких и знойных стран. Где нет зимы, Но так, как мы, Не знают боли сильнее И глубже сердечных ран...

Мне казалось, Шура, закрыв глаза, видит в темноте освещенный экран, где танцует Петер, и просто подпевает тому фильму, что крутится у нее в голове.

Девчонки слушали песни и романсы чуть ли не час. Наконец Шура довела до конца последний куплет, сделала паузу и громко объявила:

— Концерт! Окончен! Всего вам доброго, дорогие товарищи!

И встала.

И поклонилась.

Девчонки захлопали в ладоши. Кира сказала:

— Спасибо, Александра Васильевна!

Все посмотрели на остывший чай и заторопились:

— Ой! Нам же домой пора!

Насте с Вероникой надо было к Поддужной слободе, а Кира жила в другой стороне, и я пошел ее провожать.

Я шел и молчал. Я боялся, что Шура показалась девчонкам смешной. И что Кира сейчас скажет что-нибудь такое.

Кира ведь резкая.

Она появилась в нашем классе в сентябре: тощая, маленького роста, с круглым лицом, коротко стриженная и какая-то востроносая. Когда я увидел ее в дверях, то подумал, что к нам забрела младшеклассница, может быть, чья-то сестренка. На фоне некоторых наших девиц, которые выглядели почти взрослыми, Кира была совсем малявкой, и над ней посмеивались. Правда, быстро перестали.

Гимназия у нас «с прошлым», сильная, учиться трудно, а Кира училась блестяще, по французскому и английскому у нее были такие успехи, что, не успев прийти к нам, она сразу поехала от имени школы на городскую олимпиаду и заняла там оба первых места, и в адрес тех, кто не дотягивал до ее уровня, она высказывалась очень резко, даже зло: «Одноклеточные».

Еще мне нравилось, что ее зовут не как всех. У нас в классе две Насти, две Даши, три Наташи...

— Был такой древний царь. Кир. Очень воевать любил, — объяснила она мне в самом начале нашего знакомства происхождение своего имени. — Знаешь, как он говорил о себе?

Кира встала в картинную позу и продекламировала на одном дыхании:

— Я — Кир, царь множеств, царь великий, царь могучий, царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь четырех стран света, сын Камбиса, царя великого, царя Аншана, потомок Теиспа, царя великого, царя Аншана, вечное царственное семя, правление которого любят боги Бэл и Набу, владычество которого приятно для их сердечной радости.

Мне, конечно, непонятно, как это родители могли назвать девочку именем древнего воинственного царя Шумера и Аккада и чего-то там еще для сердечной радости, но Кире имя подходило.

— Замучила вас бабушка песнями, — осторожно начал я разговор.

— Она здорово поет, — откликнулась в темноте Кира. — Я таких романсов никогда не слышала. Она тебе, наверно, когда ты был маленький, много пела?

— Все время пела. Колыбельные каждый вечер.

— Классно. Какая она у тебя...

— Какая? — насторожился я. — Какая? Странная, да?

— Ну... необычная, — согласилась Кира. — А почему она тебя Борькой зовет? Ты же Павел? Это какая-то семейная история, да?

— Да, Кира, история...

...Шура, она в самом деле странная. Что уж тут скрывать: с головой у Шуры, если сравнивать ее с другими людьми, не все было в порядке.

Вот платья эти, мундштук, романсы... И с Дусей, Люсей и Нюсей она разговаривала как с живыми. А еще она меня Борькой звала. И всех на свете девочек — Маруськами.

Маруська и Борька — это были первые Шурины дети. Близнецы. Они родились в самом начале войны, Шура тогда только-только исполнилось двадцать лет. Про отца близнецов Шура говорить не любила, Вернее, если заходила об этом речь, говорила очень коротко, например так: «Он был инженер, очень умный. И танцевал как бог. Просто как бог». А в следующий раз «он» оказывался летчиком, а потом — артистом оперетты или даже писателем-лауреатом-самой-главной-премии.

От Маруськи и Борьки осталась только коричневая фотокарточка с поломанным уголком. Мне кажется, Маруська была немного похожа на нашу Гуль, а вот Борька на меня совсем не похож.

Бабушка работала на химзаводе, шла война. Дети сперва оставались с пожилой соседкой, а вскоре при заводе организовали ясли.

И дети целый день проводили там, и все шло нормально, пока вдруг не случилось плохое.

На заводе произошла авария. Наша соседка, которая всю жизнь прожила в доме напротив, говорила: «Вот тогда-то Шура и надышалась отравой и мозги себе спортила».

Я не знаю, правда ли, что бабушкины странности объясняются именно этим. Потому что сразу вслед за аварией, после которой Шура попала в больницу, заболели близнецы. Чем — тоже не знаю. И бабушка не знала. Но когда Шура вышла из больницы, Маруськи и Борьки уже не было на свете.

Однажды я набрался нахальства и спросил:

— Шур, ну зачем ты меня Борькой зовешь? Трудно запомнить, что я Павел?

Бабушка посмотрела на меня, пожевала губами, а потом мотнула головой:

— Знаю я, Борька, что ты Павел... Но я уж так привыкла. Да и ладно.

— А отвыкнуть?

— Стара я уже — отвыкать, — проворчала бабушка. — Ничего, были у меня шестьдесят с гаком лет все Борьки да Маруськи, потерпи еще чуток.

Кира выслушала мой рассказ, а потом спросила:

— Слушай, а мама твоя, она когда родилась?

— В 61-м году. Мама — поздний ребенок, бабушке уже сорок лет было.

— А как твою маму зовут?

— Марина Алексеевна.

Кира вдруг засмеялась:

— Наверное, бабушка твоя ее не Мариной звала, а Маруськой, да? Сумасшедшая все же у тебя бабуля!

Я хотел ответить Кире, что ничего смешного в этом нет, но почему-то промолчал.

Мама так и не пришла. Надо спать. Кажется, уже светает. В июне ночи короткие.

Гуль

Японские художники всю жизнь учатся рисовать ровный круг. Мне Паша рассказал.

По-моему, это очень глупо с их японской стороны.

Есть циркуль. Или можно взять стакан, поставить его и аккуратненько обвести. Получится ровный круг.

А всю оставшуюся жизнь можно потратить на что-нибудь другое.

Но Паша это мне не просто так говорит. Он все такое рассказывает, когда мои уроки проверяет и сердится:

— Муху покатали на карусели, пока у нее башка не закружилась, а потом обмакнули в чернила и пустили плясать по твоим тетрадям. Гуль, ну нельзя же так коряво! Вот это у тебя что? «П» или «Н»? Японцы...

Я сто миллионов раз слышала про японцев. Или про китайцев, как их там...

Но Паша все ворчит и ворчит.

Конечно, Паше хорошо. Он и рисовать умеет, и писать красиво, *калеро... каглира... ка-гли-ра-фически...*

В нашем первом «В» за всеми после уроков приходят мамы или бабушки. А ко мне приходит Паша.

Он появляется в классе после звонка с четвертого урока и говорит нашей Софье Тимофеевне: «Здравствуйте, Софья Тимофеевна», а она ему всегда отвечает: «Здравствуйте-здравствуйте, Павел Васильич!» И улыбается. Софья Тимофеевна уважает моего Пашу, называет его по отчеству, как будто он взрослый человек. Хотя он еще не взрослый, я это понимаю.

Потом Паша уходит, у него еще два или три урока, потому что старшеклассники учатся дольше, чем мы, а я жду его в продленке.

Делаю домашние задания и немножко читаю.

А потом Марианна Вениаминовна, которая руководит продленкой, говорит:

— За тобой твой нянь пришел.

Она так шутит.

И мы с Пашей идем домой.

Иногда по дороге в киоске на углу нашей улицы он покупает мне кока-колу и чипсы, а иногда я прошу купить, а он вдруг начинает говорить, что это мусорная еда. Что от колы с чипсами в желудке будут дырки. Как в дуршлаге — во-о-от такие дырки. И руки разводит в стороны на метр.

Не бывает же таких дырок, правда?

И вообще я заметила: разговор про дырки заходит, если у Пашки деньги карманные уже кончились.

Я очень люблю момент, когда старший брат забирает меня из школы. Но это сразу и радостный, и грустный момент — так бывает в жизни. Больше всего мне жалко, когда за мной Паша приходит, а за Мишей его мама не приходит. Мама иногда забирает его сразу после уроков, иногда через два часа, а иногда вообще вечером. Вот и случается, что я уже домой иду, а Миша на продленке остается. Тогда он спрашивает:

— Гуль, созвонимся?

Я киваю.

И Миша остается за нашей партой у окна один.

Я вообще люблю только двух мужчин на свете. Пашу — потому что он мой брат. И Мишу — потому что он мой друг.

Вечером я звоню Мише.

— Знаешь, — говорит Миша, — а я за один день научился стрелять из лука! Мама купила мне лук, и мишень, и четыре стрелы. Только тетива очень тугая. Как ты думаешь, дети древних охотников долго учились стрелять?

А я говорю:

— Вряд ли. Они жили мало, и им приходилось учиться быстро. А то их всех могли съесть саблезубые медведи. А вот как ты думаешь: если муху катать на карусели, у нее голова закружится?

— Нет, — отвечает Миша. — От человеческой карусели не закружится, человеческая для нее слишком большая. У тебя же не кружится голова, когда ты несешься через космос вместе с Землей?

Вот такие мы ведем серьезные разговоры. Миша хочет стать ученым — археологом или астрономом.

Раньше мы с Мишей ходили в одну группу в садике. Там мы не очень дружили, просто пели вместе на утренниках. Дуэтом. Это значит — вдвоем. Вдвоем петь гораздо труднее, чем хором. И труднее, чем одному.

Чтобы дружить, надо ходить друг другу в гости. Я так думаю. Но пока ты маленький, в гости особо не походишь: одного не пускают, а взрослые все время заняты, водить тебя не могут. Так что дружить нам было трудно.

Еще мы с Мишей ходили к одной общей учительнице музыки, она жила в Мишином доме, только он в первом подъезде, а учительница в четвертом.

Мама и Лидия Иосифовна, которая учительница музыки, знакомы с детства: наша бабушка шила тогда для мамы Лидии Иосифовны на заказ. И вот однажды мама и Лидия Иосифовна случайно встретились, уже взрослые, и Лидия Иосифовна говорит: «А что, если я буду давать твоей дочке частные уроки? Недорого». И я начала заниматься у нее. А потом моя мама случайно сказала про это Мишиной маме, и Мишу тоже стали водить на музыку. И мы так занимались целый год до школы.

В субботу паши уроки были один за другим. Я приходила па урок, а Миша уходил. Так что у Лидии Иосифовны мы с Мишей виделись только по субботам. В коридоре.

Коридор у учительницы музыки был почему-то перегороден бархатной занавеской. Это называется портьера, сказала Лидия Иосифовна. Портьера собиралась на толстый золотой шнур бантиком. Это было похоже на театр. В театре я была один раз с мамой и с Пашей. И там был бархатный занавес — огромный, до самого неба.

Когда меня приводили на музыку, дверь открывала мама Лидии Иосифовны, Белла Борисовна.

Она ходила по дому в брюках и широкой шелковой кофте. Во вторник кофта была лимонная, в среду малиновая, а в субботу черная.

Интересно, кофту какого цвета Белла Борисовна надевала в понедельник, в пятницу и в четверг? А в воскресенье?

Наверное, у нее семь кофт разного цвета. На каждый день недели. Иначе ей было бы просто не узнать, понедельник сегодня или суббота. Потому что она очень рассеянная. И ходит, прикрыв глаза, как будто ей совсем неинтересно смотреть на жизнь вокруг.

Увидев меня, Белла Борисовна всегда говорила сладким голосом одно и то же:

— А, это ты, детка. Присядь тут, Лидочка уже заканчивает.

И указывала мне на бархатную банкетку, стоящую в коридоре.

Я сидела на банкетке и думала, что будет, если однажды я отвечу Белле Борисовне:

— Нет, это не я! Это старуха Грюнфельд из темного-темного леса!

Может быть, тогда Белла Борисовна откроет глаза, посмотрит на меня и даже спросит, как меня зовут.

Я сидела, думала и ждала, а потом из-за портьеры появлялся Миша. И я представляла, что передо мной сцена, а Миша — известный артист, и вот он выходит перед полным залом, и все на него любуются.

Миша чаще всего выходил с урока весь красный и сердитый.

— Привет, — говорила я.

— Угу, — отвечал Миша.

— Ты уже уходишь? — спрашивала я.

Да, я понимаю, что это глупый вопрос. Но мне хотелось поговорить!

— Угу, — повторял Миша.

— Ну, пока, — прощалась я.

— Угу, пока, — кивал Миша.

К весне я уже выучила ригодон, и старинную французскую песенку, и еще белорусскую народную песню про перепелочку. Но тут мама поссорилась с Лидией Иосифовной, и я перестала ходить на музыку.

Потом мы с Мишей окончили садик.
И я думала, мы больше никогда не встретимся.

30 августа мы с Шурой пришли в школу на «пробный день». В этой школе и моя мама училась, и Паша учится.

Школа большая, пять этажей. Как бы мне там не заблудиться, когда останусь одна.

Бабушка долго смотрела списки, а потом сказала:

— Ты учишься в первом «А» классе. У заслуженной учительницы Недыбайло Ю.С.

— Не до чего? — решила уточнить я.

— Не-ды-бай-ло, — ответила бабушка. — Фамилия такая. А Ю.С. — имя, Юлия Станиславовна.

Фамилия учительницы мне сразу не понравилась. Но я знаю, что нельзя судить о человеке по его фамилии. Человек же не виноват, что у него такая фамилия, правда?

— Ты ее знаешь? — удивилась я.

— Знаю, — сухо ответила Шура.

— Она хорошая? — заволновалась я. И представила, что учительница Недыбайла должна быть огромная, как каменная великанша, с большими руками и ногами. Так что я заранее испугалась.

Шура почему-то молчала и продолжала вглядываться в списки.

— Пойдем. Шура, — я тихонько подергала бабушку за рукав.

Хотя мне с каждой минутой было все страшнее и страшнее от того, что надо будет встретиться с заслуженной учительницей Недыбайло, я все равно ужасно боялась опоздать на этот «пробный урок». И еще боялась: вдруг меня сразу попросят что-нибудь прочитать — я ведь плохо читаю. Мне читает Паша, и у него получается здорово: все герои говорят своими голосами. А если я читаю сама, то у меня все как-то медленно и одинаково: бу-бу, бу-бу...

И когда заслуженная Недыбайла услышит, как я плохо читаю, она скажет мне: «Ты совсем глупая девочка, и я не буду тебя ничему учить, а буду только ругать и ругать все время!»

А если мы еще и опоздаем...

Но тут Шура сказала:

— Эй! А как фамилия твоему приятелю Мише? Гуренков?

И она ткнула пальцем куда-то в последний лист списков.

— Смотри: Гуренков Михаил. Первый класс «В».

Да! Гуренков Михаил — это был мой друг Миша!

Я подумала, что мы сможем иногда встречаться в школе на переменах. Конечно, у него будут новые друзья, но ведь он и меня вспомнит, правда?

— Первый класс «В», — повторила бабушка. И прибавила:

— Учительница Сонькина С. Т.

Я начала представлять себе учительницу Сонькину — наверное, она такая маленькая, вся тоненькая и с короткими волосами, похожая на мальчика. Или на маленькую певчую птичку.

А бабушка сказала:

— Стой тут. Ни шагу с этого места.

— Куда ты? — кинулась я за ней.

— На разведку, — ответила Шура. — Стой тут, жди.

Вернулась она очень быстро.

— Ну вот, посмотрела, что за Сонькина такая, — сказала она деловито, — и думаю, это нам подходит. Хочешь учиться с Мишей в одном классе?

Я быстро-быстро закивала.

Все же хорошо, когда в классе есть кто-то знакомый. Особенно если это Миша Гуренков.

И мы с бабушкой пошли на второй этаж. Искать завуча.

Завуч сперва вытаращила глаза на бабушкин длинный цветастый подол, а услышав, что бабушка хочет перевести меня в другой класс, так замотала головой, что я испугалась, не вылетят ли у нее из ушей длинные желтые серьги. Они били ее по щекам, доставая почти до носа.

— Нет-нет, это невозможно, списки уже составлены, ничего изменить нельзя. Что за капризы, в самом деле, в последнюю минуту?

«Ничего изменить нельзя». Я была готова зареветь. Но Шура почему-то и не думала сдаваться.

— Из класса «А» в класс «В», — громко и внятно сказала Шура.

Тогда завуч перестала головой мотать и спросила:

— В «В»? Из «А»? От Юлии Станиславовны?

Бабушка подтвердила: да, именно от Юлии Станиславовны.

Завуч посмотрела на меня и пожала плечами:

— Первый раз слышу подобную просьбу. Все умоляют перевести их в класс «А», он уже просто-таки переполнен... Если вы решили освободить место — конечно, переведем.

Но тут она вдруг спохватилась:

— А вы ребенку кто — бабушка? Родители возражать не будут?

— Не будут, — вздохнула Шура.

Мама, конечно, не возражала бы. Ей, наверное, вообще все равно: в школу-то меня тоже бабушка записывала. Но первого сентября мама обещала найти время и проводить меня в школу. Вот так и получилось, что мы с Шурой пошли в класс «В». И завуч с нами.

— Софья Тимофеевна, мы переводим к вам из «А» вот эту девочку. По желанию родителей.

Учительница Сонькина оказалась вовсе не такой, как я думала.

Высокая, с черными волосами, распущенными по плечам, и черными глазами.

Есть такая сказка про Беляночку и Розочку, так вот учительница Сонькина была похожа на Розочку из этой сказки.

И отчество у нее — Феевна!

Миша сидел на второй парте в первом ряду. У окна. Но в окно не смотрел. И на меня не смотрел. Рядом с ним сидела толстенькая девочка с косой, и они пинали друг друга ногами под партой. Я видела, пока стояла перед всеми, держась за Шурину руку.

Бабушка шепотом что-то сказала учительнице Сонькиной.

И толстенькую девочку вдруг пересадили на первую парту в средний ряд. Девочка со своего нового места показала Мише язык.

А меня посадили на ее место.

— Ты на музыку еще ходишь? — спросила я.

— Меня мама в музыкальную студию записала, — сказал Миша. — Там будет хор, музлитература и сольфеджио. Но сольфеджио мне не нравится.

— Ты же не пробовал! — удивилась я.

— Все равно не нравится. Заранее, — мрачно ответил Миша.

С этой минуты мы с Мишей Гуренковым стали совсем друзьями.

Лялька

Такой простой вопрос: кто вы? Ответите? Три ступеньки ответа. Если спросить Ее, она скажет:

— Я — Гуль.

А потом скажет:

— Я девочка.

А потом еще:

— Я человек.

Достаточно.

Спросите меня про это.

Кто ты?

И я вам скажу:

— Я — Лялька.

А вот дальше ничего не добавлю.

Ведь самая большая проблема — это уши.

Не смейтесь.

Я объясню про уши.

Спросите меня про уши — и я вам объясню.

Знаете, в чем проблема?

Я объясню — но вы меня, скорее всего, не услышите.

До сих пор только два человека на свете слышали, что я говорю. Теперь остался один.

Даже Паша не слышит меня.

Иногда в дождь Она сидит на крыльце дома. На верхней ступеньке. Куда не долетают холодные капли. В ярких синих резиновых сапожках сидит Она на крыльце дома и молча смотрит на серое небо и сизые тучи.

И я говорю Паше:

— О чем она думает? Ей грустно? Она сидит на крыльце уже час. Там сыро. Она простудится. Иди позови ее. Налей ей чаю с молоком. И дай ей булки с маслом и вареньем.

Но Паша продолжает читать нерусскую книгу. Книга называется «Заблудившийся автобус». Наверное, это сказка. Такое название — я думаю, что сказка. Паша листает словарь и грызет карандаш. Паша включает настольную лампу, потому что буквы в его книге мелкие, а в комнате темно. Паша не замечает, что Гуль уже второй час сидит в сумерках на крыльце и дышит сырým воздухом.

— Паша-а-а! — кричу я изо всех сил.

Я не отчаиваюсь, я все время с ним разговариваю. Потому что надеюсь, что он однажды меня услышит.

Но Паша не слышит.
Наверное, у него неправильные уши.
Спросите меня про уши.
И я вам расскажу, как я родилась.

Были лоскуты фланели и шерстяная пряжа, и был шелк, и был тонкий фетр, и было два обрывка кружева, и были разноцветные пуговицы, и было утро, и был вечер. И был день первый.
У всего есть причина. Есть причина у снега, у плохого настроения, у подгоревшей каши, есть причина у разбитой чашки, у каркающей вороны, у темноты.

У меня тоже есть причина.

Я появилась потому, что на свете есть такая болезнь — ветрянка.

Когда у человека ветрянка, то у него температура и он спит весь день.

И Гуль спала весь день.

Весь тот первый день, когда Шура взяла фланель, и пряжу, и шелк, и фетр, и все остальное взяла тоже Шура — и иголку, и нитки.

А вечером, когда Гуль проснулась, Шура пришла к ней и посадила перед ней на одеяло меня.

— Ой, кто это? — спросила Гуль.

— Это Лялька, — ответила Шура. — Ее зовут Лялька, и она твоя.

Я не знаю, как люди узнают свое имя.

То, что меня зовут Лялька, я узнала от Шуры.

Шура сделала последний стежок, перекусила нить, положила меня на стол прямо перед собой и неторопливо расправила складки моего платья.

— Ты — Лялька. Сейчас Гуль проснет, и я подарю тебя ей.

Она хорошая, моя Гуль. Она тебе понравится.

— Лялька. Подходящее имя.

— Я тоже думаю, что подходящее.

И я поняла, что Шура меня слышит.

Гуль мне понравилась. Вся в ветрянке и в зеленке, растрепанная и в старенькой пижамке — Гуль была самая лучшая на свете девочка.

А я понравилась Гуль.

— Шура... — сказала Гуль, трогая пальцем пуговицы у меня на платье, — Шура, а Лялька — она кто?

...Есть игрушечные зайцы и кошки, мишки и мышки.

Есть просто зверушки с круглой мордочкой. Пока не увидишь их уши, не сумеешь определить, кто это.

По ушам все ясно.

Длинные узкие у зайца.

Круглые маленькие у медведя.

Круглые большие у мыши.

Треугольные у кошки.

Вы скажете, что есть еще хвост? Хвост — деталь вовсе не обязательная.

Все дело в ушах.

Я ведь обещала вам объяснить все про уши?

Так вот, никто не знает, какие у меня уши.

Шура сшила роскошную шляпу — с лентами, цветами и кружевами. Большую шляпу надела мне на голову Шура, и под шляпой были скрыты мои уши ото всех. Только мы с Шурой знали, что я за зверь.

И шляпа была пришита крепко-накрепко, чтоб никто ее не снял.

Даже Гуль.

— Лялька — она просто Лялька, и все тут. Так и отвечай тем, кто будет спрашивать, — улыбнулась Шура. А на следующее утро Гуль сказала мне:

— Вот, Лялька, ты такая красивая: у тебя тут и кружавчики, и пуговка перламутровая. А у меня ветрянка. Видишь, я вся в пятнышках. Ужасно, да?

— Нет, Гуль, ты тоже очень красивая. А ветрянка пройдет.

— Я тебе скажу, кто красивый. Красивые должны быть беленькие-беленькие и с голубыми глазами. А я — видишь какая? Глаза черные, волосы черные...

— Глупости. Ты что, не встречала красавиц с черными волосами?

— Наша учительница Софья Феевна — с черными волосами и красивая, да! Думаешь, я тоже буду красивая, когда вырасту?

— Ты уже красивая. Только глупая. Почему ты меня не слушаешь, я ведь правду говорю. Вместо ответа Гуль поцеловала меня в нос.
С Гуль тоже можно разговаривать.
А больше ни с кем.
Никто меня больше не слышит.
Зато я слышу всех.

У меня было два любимых существа: Шура и Гуль.
Теперь осталась только Гуль.
Мне нравится Паша, потому что Паша любит Шуру и Гуль. И Паша со мной разговаривает. Невпопад, конечно, потому что он не слышит, что я ему отвечаю. Но он старается.
Он относится ко мне серьезно.

У Паши и Гуль есть мама.
Когда она бывает дома, она все время в плохом настроении.
Когда она в плохом настроении, она начинает прибираться в комнате Гуль.
Когда она прибирается в комнате Гуль, она берет меня за ноги и кидает в ящик с игрушками. Вниз головой.
— Вечно тут как в хлеву, — говорит мама.
Мама много говорит, когда думает, что ее никто не слышит.
— Как я все это ненавижу, — говорит мама.
— Как я устала, — говорит мама.
— Сил больше нет, — говорит мама.
И еще какие-то слова она говорит, я не все понимаю.
— Ты бы чаще бывала дома. Дети совсем заброшены, — это Шура появляется в дверях комнаты и оглядывает то, как мама наводит злой порядок.
— За что тебя жалеть, — говорит Шура.
— Ты сама сделала так, чтоб в твоей жизни не было ни покоя, ни счастья, но ведь ты же можешь все исправить, — говорит Шура.
— Дети у тебя прекрасные. А ты все мечешься, мечешься, — говорит Шура.

В ответ мама кричит. Потом плачет. Потом садится и смотрит в одну точку. А потом опять уходит из дома.

Шура достает меня из ящика с игрушками, расправляет мое платье и сажает меня на кровать.
— Знаешь, Лялька, — грустно говорит Шура, — я не понимаю, зачем ей дети. Как-то так вышло, что они у нее есть — и такие чудесные. Но, кажется, ей в этой жизни нужно что-то совсем другое.
— Знаешь, Лялька, — еще говорит Шура, — это хорошо, что дети такие самостоятельные. Потому что я ведь старая уже, понимаешь, я уже очень старая.
— Знаешь, Лялька, — добавляет Шура, — я не понимаю, почему она такая выросла. Я ее люблю, но ей ничего не надо. И я уже не умею с ней разговаривать.
Шура гладит меня по голове и уходит к себе в комнату.
Теперь из взрослых в нашем доме осталась только мама. Дуся, Люся и Нюся — не в счет. И я не в счет. И Паша тоже. Хотя именно на Паше сейчас держится все.

Павел

Раньше в комнате у мамы пахло масляной краской. Я очень люблю этот запах. И пятна свежей краски на палитре. И загрунтованные холсты. Чистые. — Смотрю на такой холст — и начинает стучать сердце.

В детстве у меня была книга про Алису в Зазеркалье. Я ее перечитывал, перечитывал, наверное, раз десять. У нас в проходной комнате стоит старый шкаф с секретером. Дверца секретера откидывается, превращается в столик, и становится виден встроенный шкафчик для бумаг и книг. А дальняя стенка этого шкафчика — зеркало. Чтобы взрослому заглянуть в него, надо или наклониться, или сесть за откидной столик. А когда я, маленький, подходил и заглядывал туда — сразу видел свое отражение.

И мне всегда казалось, что там просто отверстие в другой мир. В котором живет другой Паша, в котором стоит очень похожая на нашу, но другая мебель. Думать об этом было интересно и немного жутко. Я знал: чтобы туда попасть, надо залезть в секретер и закрыть за собой дверцу. Если постараться и закрыть дверцу совсем плотно, чтобы не проникал ни один луч света, то в полной темноте можно незаметно провалиться сквозь зеркало в тот мир.

Вот только дверца секретера плотно никогда не закрывалась. Ручка оставалась снаружи, изнутри уцепиться было не за что, так что я привязывал веревочку' и тянул за нее. Только все равно: кажется, закрыл дверцу плотно, а все равно светится щелочка. И в зеркале видно, как я, скрючившись, тяну на себя изо всех сил эту дверцу.

Потом меня осенило: надо залезть в секретер ночью, когда света совсем мало.

Но сделать это я не решился. Испугался другого Паши, который уже живет там.

А потом я незаметно для себя вырос. В секретер было уже не поместиться.

И когда я вырос, то однажды поймал себя на мысли, что теперь окном в другой мир мне кажется готовый к работе холст.

Я представлял, как протягиваю к холсту руку и она проваливается сквозь него в другой мир. И я могу разбежаться и прыгнуть туда. А там...

Но как только на холсте появляется хоть крошечное пятнышко краски — всё. Он становится просто плоской поверхностью, тряпкой, натянутой на деревянную раму.

Мама стучала молотком, натягивая холст на подрамник, и что-то напевала — обычно в такие моменты у нее было хорошее настроение.

Я слушал ее песню-мычание и думал, что я, наверное, тоже хотел бы стать художником.

Но поступать в художественную школу мама мне не разрешила.

— Хватит нам на семью одного великого и талантливого малевателя афиш, — сказала тогда мама. — Лучше учи английский, для жизни полезнее.

Да, мама рисовала киноафиши. По работе. А для себя она рисовала, конечно, совсем другое. В комнате Гуль висят три маминых маленьких картины с белым верблюдом. Верблюд гуляет по городу с тростью, верблюд катается на качелях в парке и верблюд лежит на берегу реки, подогнув мосластые ноги. Еще когда-то давно мама рисовала пейзажи — речки, церковки, маленькие домики в окружении сирени и пионов... По воскресеньям мама ходила в центр, на Октябрьскую улицу, и продавала там свои картины. Иногда их покупали — в такой день она приносила домой всякие вкусные вещи. И в любое время года она покупала клубнику. Мама любила клубнику, даже ту, которую продают зимой, в прозрачных лоточках, — яркую, красивую, но без запаха.

Потом мама клубники уже не приносила — ее картины совсем перестали покупать. Потому что теперь на маминых картинах были только цветные пятна и полосы. Сперва яркие. А в последний год всегда только черно-фиолетовые. Прямо какие-то черные дыры.

Мне тогда и самому стало неприятно бывать у мамы в комнате, где взгляд всегда мог провалиться в такую космическую дыру.

Раньше к нам часто приходили мамины друзья. Теперь мама никого в гости не зовет, она все время уходит сама.

А сегодня утром, когда мы с Гуль проснулись, стало понятно, что мама так и не пришла ночевать домой.

Сейчас, когда на улице солнце и тепло, в доме совсем не страшно, И никаких скрипов и стуков — дом совсем тихий по утрам.

Я мою посуду после завтрака и разговариваю с Лялькой.

Гуль посадила Ляльку на подоконник, повязав ей вокруг шеи вместо салфетки носовой платок, потом умчалась на улицу с подружками. А Лялька осталась сидеть и смотреть на кухонный стол.

— Что, Лялька, забыла она тебя покормить? Бывает. Кстати, хочу тебе пожаловаться. Твоя Гуль ест совсем мало, — строго говорю я Ляльке. — Смотри, что там еды-то было: яичница из двух яиц да чай. Чан не допила, яичницу не доела. Тошная, как велосипед.

Лялька укоризненно молчит.

— Вот как ты думаешь, кто у нас по ночам в доме скрипит и стучит? Утром тишина, а ночью... Ты ведь, Лялька, знаешь, наверное. Мыши, что ли? Или домовые? Или привидения?

Лялька загадочно молчит.

Ну конечно. Лялька не умеет разговаривать. Правда, Гуль с жаром уверяет, что слышит Лялькины ответы на любой вопрос. Но Гуль точно так же, честно блестя своими черными глазами, клянется, что под крыльцом у нас живут дрессированные жучки: папа-жук, мама-жучиха, детки-жучатки. У них там домик, коврики и кровати, и настоящие чашечки и ложечки, и даже пианино жучиное: «Только ты его не слышишь, потому что они играют лапочками по клавишам тихо-тихо, чтоб не напугать людей».

Мне Лялька не отвечает, но она так давно с нами, что я привык с ней советоваться. Вот и сейчас разговариваю с ней — как будто она может ответить.

И мне очень хочется рассказать кому-нибудь, хоть Ляльке, что я звонил маме на сотовый уже восемнадцать раз. Сейчас позвоню в девятнадцатый. Телефон опять «вне зоны действия сети».

Хорошая погода. Лето. Наверное, мама уехала к кому-нибудь на дачу. И телефон там не ловит.

Иду в свою комнату, приставляю стул к шкафу и достаю сверху большую папку с бумагой.

Такие папки я стал покупать на карманные деньги два года назад. Лежа на шкафу, они пылятся, но остаются совсем новенькими на вид — я же с ними никуда не хожу.

Про эти папки я никому не говорю. Даже Гуль про них не знает. Даже бабушка не знала. Мама — тем более.

Мама — настоящий художник. Она училась долго, и даже если сейчас она рисует афиши, а для души покрывает холсты черными и фиолетовыми полосами, все равно она умеет нарисовать все, что только пожелает.

Конечно, я рисовал в детстве, и рисовать мне очень нравилось. А однажды, как раз два года назад, я сказал:

— Мам, я хочу в художественную школу!

В ответ мама молча схватила с подоконника запыленную вазу, на дне которой лежаладохлая муха, поставила эту вазу на табуретку и кивнула на нее:

— Рисуй.

— Зачем? — не понял я.

Ваза была скучная, и мне вовсе не хотелось ее рисовать.

— А что, ты полагаешь, в художественной школе тебе дадут рисовать что-то осмысленное? А может, ты полагаешь, что тебя там чему-то научат? — ехидно спросила мама.

— Тебя же научили, — попытался возразить я.

— Не там. Все, что я умею, — заслуга не школы и не художественного училища. Толпа учеников в школе вокруг дурацкого натюрморта — это... это стадо. — Мама покрутила в воздухе испачканными краской пальцами. — Словом, нет!

— Но почему?

— Потому что вдруг ты подумаешь, что это может стать профессией!

— А разве не может?

— Профессией? — фыркнула мама. — Профессия, мой милый, это юрист. Или бухгалтер. Или даже водитель троллейбуса. Смена кончилась — и ты пошел домой есть суп. И картошку с котлетами. Я не желаю, чтоб ты стал художником! Я хочу, чтоб у тебя была нормальная, более реальная и счастливая жизнь.

— А у тебя не реальная и не счастливая? — сердито спросил я.

Мама помолчала. Потом покачала головой:

— Я не намерена это обсуждать. Особенно с тобой.

Она стояла передо мной в заляпанных краской рабочих джинсах, воинственно задрал подбородок и сложив руки на груди, коротко, почти под ноль стриженная, худая, похожая па мальчика. У нее были усталые невыспавшиеся глаза и бледные губы. И она сказала наконец:

— Я запрещаю. Все. Дискуссия окончена.

Вот после этого я и купил первую папку с большими листами бумаги. И тонкий черный фломастер.

За два года изрисованных листов набралось много. Я складывал их в пакет, перематывал пакет скотчем и прятал очередную порцию рисунков на чердак.

И теперь я беру фломастер, кладу перед собой лист и начинаю рисовать.

С правого нижнего угла. Я рисую животное, похожее на оленя, рога его ветвятся до середины листа, превращаются в дерево с корявыми ветками, па ветках листья и птицы, у птиц глаза... птичьи перья и листья летят, переплетаются, шкура оленя покрыта мелким витым орнаментом, и вот еще один олень, он летит по небу, и одновременно он птица, перо, облако...

Почти весь лист от края до края покрыт рисунком — если отойти подальше, покажется, что это просто мелкий-мелкий сложно переплетенный узор. Я не знаю, как это называется, но я точно знаю, что это не похоже на вазу на табуретке и что это совершенно бесполезный рисунок. Еще один рисунок. Скоро папка наполнится, и я отнесу на чердак еще один пакет.

Сейчас, летом, я рисую почти каждый день.

Гуль

Ненавижу играть в вышибалы.

Я хожу в школьный лагерь. Это только так называется — лагерь. На самом деле мы приходим в школу к восьми часам, потом у нас всякие экскурсии и кружки (я, например, занимаюсь в кружке мягкой игрушки), потом обед. А в хорошую погоду мы еще много гуляем и играем в школьном дворе. Наша Софья Тимофеевна болеет, и поэтому нами руководит чужая учительница. Та самая Юлия Станиславовна из первого «А». Юлия Станиславовна собирает нас всех в классе до завтрака и велит встать за парты. Мы должны стоять ровненько, прижав ладони к бокам и развернув плечи. И смотреть прямо перед собой.

— Осанка, осанка! — громко говорит Юлия Станиславовна.

Потом считает:

— Ра-а-аз! Два! Три!

В пашен группе сейчас шестеро ашек. В первый лагерный день Юлия Станиславовна рассадила нас так, чтобы в каждом ряду па задней парте сидели ашки. А потом подозвала их к себе и, пока все шумели и болтали, что-то долго им говорила.

Потом встала перед нами у доски в такую позу, как будто она памятник, и сказала громко:

— Консультанты!

Мы не поняли: чего она от нас хочет? Но тут кто-то заглянул в класс, и она вышла.

Мы снова зашумели, и тогда к доске выскочили ашки.

И объявили, что они консультанты и будут следить за порядком. Каждый в своем ряду. Чтоб никто не приносил запрещенные вещи. (Запрещенные вещи — это, например, всякие электронные игры, или сотовые телефоны, или чипсы, или кола). И еще ашки сказали, что когда Юлия Станиславовна вот так встанет у доски, то мы все должны встать у парт. Как солдаты. Потом, когда учительница скажет «раз!» — все должны сделать шаг за парту. Она скажет «два!» — и все должны бесшумно сесть. Она скажет: «три!» — и все должны положить одну руку на другую линеечкой.

Пока ашки все это говорили, их толком никто не слушал, все продолжали вопить и бегать по классу.

И вдруг вернулась Недыбайла. Увидела, что все носятся, и как заорет!

Все испугались и побежали на свои места. Толкотня началась, никто не поймет, где его парта. Только ашки по местам стоят и глазами хлопают.

А Недыбайла поорала-поорала и замолчала, губы сжала и бровями шевелит. А брови у нее такие черные-черные. Наверное, она их карандашом подрисовывает. Потому что у меня вот тоже черные брови, ноу меня и волосы черные. А у Юлии Станиславовны волосы белые, как у куклы Барби. Только Барби красивая, а Юлия Станиславовна толстая, как бегемот.

Я не люблю, когда на меня орут. Софья Тимофеевна никогда не орет. И дома у нас никто не орет. Ну, только Паша иногда — очень редко. Если я его совсем уже достаю.

Мы замолчали, и тогда Недыбайла сказала:

— Раз!

Все растерялись, кто-то сел, кто-то остался стоять.

Недыбайла велела нам повернуться к задним партам. И показала на своих образцовых ашках, что именно надо делать на раз-два-три.

А потом начала нас дрессировать. Ну, в общем, на десятый раз мы уже почти слушались, но тут прибежал кто-то из столовой и сказал, что еда остывает. Так что ей пришлось нас освободить, и мы пошли завтракать.

На следующее утро она опять начала считать: раз-два-три. А сегодня уже шестой день — суббота, и она сказала, что сегодня она считать вслух не будет, а будет только кивать головой. Тоже три раза.

И мы все такие послушные, как солдатики, — раз, два, три — дружно сели и сложили руки.

Тогда Юлия Станиславовна скомандовала своим консультантам, и они по очереди доложили, что в их рядах нарушений нет.

После завтрака была прогулка.

А на прогулке со мной случилась ужасная вещь. Меня чуть не убили!

По плану у нас была игра в вышибалы. А нас все время ставят играть с четвертым классом. Представляете, они ведь взрослые уже, огромные! И их мальчишки, когда водят, все время целятся прямо в живот или в голову и строят страшные рожи. Я боюсь с ними играть.

Сегодня только мы встали посередине площадки, как мне попали мячом прямо по голове. Мне показалось, что голову мне с плеч сшибли, а вместо нее теперь этот мячик.

Я заплакала и быстро вышла из игры. На меня все орут, что я команду подвожу, а я думаю: «Вот я сейчас упаду прямо на асфальт в обморок — сразу испугаетесь!»

Взрослых никого во дворе не было, за нами присматривали только две девочки из девятого класса, но они в это время стояли у школьной ограды и болтали.

Так что я пошла себе тихо с площадки. Завернула за угол школы, обогнула мусорные баки. И решила, что я в этом лагере ни за что не останусь. В дальнем углу заднего двора была такая специальная дырка в ограде, через нее даже некоторые родители пролезали — я видела несколько раз, — когда им было лень обходить школу вокруг, чтобы попасть к парадным воротам.

В общем, я вылезла через эту дырку и пошла по улице.

Одной на улице оказалось совсем не страшно. Можно было рассматривать людей и собак, которые бегали по клумбам, можно было самой переходить через дорогу и вообще делать что хочешь.

И я решила: домой не пойду.

Просто пошла, и пошла, и пошла...

На углу улицы Вишневого стоит большой стеклянный куб. Торговый центр. В нем кафе, магазины. Денег у меня нет, но там можно покататься на лестницах и на лифтах.

Я долго стою перед движущимися ступеньками. Людей мало, меня толкают всего два раза, а один раз мимо проходящий дяденька просто берет меня за плечи и аккуратно отодвигает в сторону.

Я стою и смотрю на лестницу потому, что мне страшно: я никак не могу решиться шагнуть на движущуюся ступеньку. Мне кажется, что я покачнусь, упаду, стукнусь коленкой о ее острый край. И еще мне кажется, если я начну падать, мои пальцы затащит под резиновые перила. Но все равно мне ужасно хочется покататься на этой лестнице. На эскалаторе.

Я собираюсь с духом, дожидаясь, пока подойдет пустая ступенька, и — прыгаю.

Только чуть-чуть пошатнулась. И ничего. Еду. Высоко еду, внизу остаются синие и оранжевые огни, макушка пальмы на первом этаже, круглые шары фонтанов. Надо уже беспокоиться о том, чтоб удачно соскочить. И я опять замираю и прыгаю.

Так я постепенно допрыгиваю и доезжаю до самого верха, до четвертого этажа.

Я стою у стеклянной стены, которая выходит на площадь. Стекло холодное, и лоб от него тоже становится холодный. Я несколько раз трогаю то лоб, то щеку: щека горячая, а лоб стал — как ледышка.

Я вспоминаю вот что.

...Мама с соседкой стояли у калитки, а я тихо подошла со двора и вдруг услышала — они говорят обо мне.

— Ну как же можно не взять Гуль на похороны, — вздыхала мама. — Она уже большая. И бабушку любила. Куда я ее дену на это время и как объясню?

— А я вот моего Серегу взяла в церковь на отпевание и на кладбище потом, и он вроде бы ничего. А ночью вскочил и — реветь! Да как реветь: весь трясется, ничего не слышит. Месяц потом так вскакивал. Я ему травки начала заваривать, он все режет, режет вставал. Сто раз потом все прокляла: дура, зачем было...

Я знаю, что бабушка умерла.

И мне хочется понять, как это.

Меня подводят к чему-то большому, прямо в меня перед глазами деревянный край ящика, внутри там все высокое и белое. Там должна быть бабушка, это ее руки с пятнышками, они сложены одна на другую. Бабушка держит свечку.

Я поднимаю глаза, чтоб заглянуть ей в лицо, но вижу только острый нос и тонкие, какие-то незнакомые, губы.

«Не похоже», — думаю я. И тут кто-то берет меня сзади за локти и приподымает. «Поцелуй бабушку», — шепчет мне этот кто-то прямо в ухо.

Я закрываю глаза, и па меня надвигается что-то очень холодное, мне кажется, что с той стороны дует тонкий ледяной ветер — зимой так дует от окон. У бабушки не может быть такого холодного лба.

Так что теперь я трогаю свой лоб и щеки и думаю: «А щеки-то теплые».

Я же никогда не умру. Мне Паша сказал.

Везет девочкам, у которых худое лицо. Вот у меня щеки толстые. Всю жизнь. С самого детства.

Мама любит рассказывать, как однажды она услышала из комнаты, где я спала в коляске, какой-то визг. Мама прибежала туда из кухни, а там Паша стоит и коляску качает. И тихо. Мама спросила Пату, что случилось, а он сказал, что ничего-ничего.

Только мама ушла — снова визг. Она назад прибежала, смотрит, а у меня на щеке красное пятно. «Паша, — удивилась мама, — ты что, сестренку за щеку ущипнул, что ли?»

А Паша — ему было тогда лет шесть — покраснел весь, а потом проворчал: «Ну а чего... чего у нее такие щеки, как смета-а-ана?»

Паша не любит этот рассказ, ему кажется, я до сих пор обижаюсь на то, что он меня щипал. А я не обижаюсь, я же понимаю, что он был совсем маленький, на два года меньше, чем я сейчас. Глупый был тогда Паша, зато теперь он очень поумнел.

Дурацкие у меня щеки. Если их щипать, может, они станут худые? От массажа ведь худеют?

— Э-эй, что с тобой? У тебя голова болит? Ты одна? Где твоя мама? — вдруг раздается у меня за спиной.

Я поворачиваюсь и вижу немного знакомую тетеньку.

Она низенькая и полная, у нее на носу очки, а рыжие волосы убраны назад, в пучок. Одета она странно: на ней поверх нормальной одежды сиреневый фартук — как будто она собралась готовить какую-то еду. Но пахнет от нее совсем невкусно — чем-то химическим.

Я смотрю на нее и молчу.

Думаю, что ответить. Потому что я тут одна, без мамы. А Паша строго-настрого велел мне никому чужому не говорить, что мамы уже несколько дней нет дома.

И мне надо быстро решить: вот эта тетенька, это Мишина мама, она — чужая или своя?

— Ты меня узнала? — теревит меня Мишина мама.

— Узнала, конечно, — говорю.

А потом рассказываю только про то, что у нас до вечера никого не будет дома, а в школе в меня кидают мячом, а я этого не люблю и потому в школу не вернусь. По крайней мере сегодня.

Мишина мама оглядывается, а потом говорит:

— Пойдем!

И мы идем в парикмахерскую — совсем рядом с тем местом, где я стояла. Мишина мама там работает.

И фартук ей нужен, чтоб совать в кармашки всякие инструменты: расчески, там, или ножницы.

Мишина мама сажает меня в уголок и просит немного подождать. А сама возвращается к креслу перед большим зеркалом.

В кресле сидит странная женщина, у которой вся голова в каких-то фантиках из фольги.

— Что ты там бормочешь, Гуль? — поворачивается ко мне Мишина мама.

— Зачем вы ей надели на голову фантики? Это некрасиво. И волос совсем не видно, — отвечаю я.

— Некрасиво? — улыбается Мишина мама. — Ничего, фантики — это временно. Сейчас мы их снимем, и все будет замечательно.

И она снимает фантики, и что-то еще делает с головой той тетеньки, и получается ничего. Вполне нормально.

Вовремя я им сказала, чтобы фантики сняли. Без фантиков точно лучше оказалось.

На белом кафельном полу валяются разноцветные локоны. Наверное, их можно собрать и сделать парик — такой пестренький.

Шура говорила, что трехцветные кошки приносят удачу. Я раньше думала, это она про настоящих разноцветных кошек говорила — зеленых с фиолетовым хвостом и красными лапами. А потом узнала, что про нормальные кошачьи цвета: когда, например, беленькая кошечка с рыжими и серыми пятнами.

Сделать трехцветный парик, надеть на себя — и тогда все будет хорошо!

Мишина мама уже сняла фартук, работа у нее закончилась. И теперь мы стоим у эскалатора.

— Ну и куда пойдем? — говорит она.

— Только не в школу! — твердо отвечаю я.

— Сама не хочу, — смеется Мишина мама. — В школу уже позвонила и сказала, чтобы они не волновались. Так что в школе тебя ждут только в понедельник. В понедельник-то пойдешь?

— Посмотрим, — пожимаю я плечами.

А Мишина мама говорит, что домой мне тоже звонила, там нет никого, и, вместо того чтоб идти домой, мы идем в кафе. И едим пиццу и мороженое.

Мишина мама спрашивает меня:

— Вот что ты делаешь, когда тебе невесело?

— Реву, — вздыхаю я, подумав.

— Я тоже, — кивает Мишина мама. — А потом что?

— А потом... — я пытаюсь сообразить, что же делаю потом. — Потом получается, что меня уже кто-нибудь утешает и жалеет, и мне становится веселее.

— А если тебе несколько дней все время грустно и грустно? — Мишина мама зачерпывает круглой пластиковой ложкой и отправляет в рот огромный кусок шоколадного пломбира, и мне немножко трудно разобрать ее слова.

— А мне не бывает несколько дней грустно. Мне бывает то грустно, то весело. То просто обычно.

— Хорошо тебе. А вот я иду и ем мороженое. У меня от этого сразу настроение улучшается.

— У меня тоже от мороженого улучшается! Я тоже буду так делать! — решаю я. — А вам часто бывает грустно?

— Бывает...

— А почему вам сейчас грустно? Вы по Мише скучаете? Он скоро от бабушки придет?

— В августе.

Когда еще он наступит, этот август...

Павел

Кухонный шкафчик почти совсем пустой. У нас было немного овсянки, вермишель, манная крупа, в погребе — остатки картошки.

Картошка сморщенная и покрыта росточками. Интересно, если посадить ее в цветочный горшок — она вырастет? Нет, я знаю, что для картошки надо больше места, но если посадить ее в большой горшок от фикуса, она ведь будет расти?

Мы с Гуль уже неделю живем одни. Мама пока не вернулась, и телефон ее не отвечает.

Так и раньше случалось раза три — когда с нами еще была Шура. Но мама всегда возвращалась, поэтому я думаю, что она вернется и теперь. Вот только на ужин у нас — четверть пакетика вермишели, последнее, что осталось из наших запасов.

Гуль ходит в дневной школьный лагерь. Там водят на экскурсии и гулять в парк культуры, там есть разные кружки и устраивают всякие соревнования. Гуль научилась валять войлочные игрушки и каждый день приносит домой то каких-то цветных колобков, то кривеньких зайчиков-мишек. Заставляет меня любоваться и хвалить ее. Я хвалю... Но для меня сейчас главное, что Гуль там кормят — дают завтрак, обед и полдник. Первые два дня она прибежала домой голодная: бе-е-е, рыбные котлеты, гадость, невкусно. И мне пришлось ей объяснить, что, пока мама не вернется, готовить буду я, а продуктов у нас мало, так что пусть уж лучше она ест все, что варят повара в школе.

Вермишели было больше, но первую партию я испортил. Я не знал, как варить вермишель. Думал — как рис. Она ведь тоже, пока не сготовишь, твердая, значит, и варить надо так же. Положил вермишель в холодную воду и поставил на огонь. Посолил воду, чтоб было вкусно. Еще боялся, что пересолю, дурачок. А вермишель вся в комок слиплась. Я испугался, что и остаток впустую потрачу. Так что надо хотя бы сейчас где-то узнать рецепт, спрашивать соседок, как варят вермишель, мне не хотелось: тут сразу бы выплыло, что мамы нет дома. Начались бы всякие ахи-охи и расспросы, соседки бы стали переглядываться, со значением поджимать губы или даже пытаться зайти в дом и сварить нам чего-нибудь. Нет, конечно, они бы сварили получше, чем это делаю я, но мы с Гуль справимся сами.

Так что я включил мамин комп. И сразу нашел в поисковике рецепт. Вот я идиот! Надо было сыпать вермишель в кипящую воду и хорошенько размешивать, пока варится. А потом эту воду слить. Очень просто.

Вермишель была готова, и я пошел забирать Гуль из школы.

Я в ее возрасте бегал в школу сам. Это недалеко — минут десять от дома. Но за Гуль я почему-то боюсь — не хочу, чтоб она переходила улицу Вишневого одна. Хоть светофор там и стоит, только я все равно думаю: а вдруг она растеряется, побежит на красный свет...

Сейчас, когда у нас в доме совсем нет взрослых, нам не нужно никаких новых проблем. Забот и так выше крыши: мама не вернулась, еда заканчивается, денег мало, не хватало еще, чтобы с Гуль что-нибудь случилось!

На обратном пути Гуль просит купить ей мороженого. Деньги на мороженое у меня есть, но я же не знаю, когда вернется мама и на сколько придется растягивать оставшуюся сумму. Нет уж, купим только молока и хлеба. Кстати, где-то в кухонных шкафах завалялся пакетик с леденцами — найду его и стану выдавать Гуль по конфетке, когда ей захочется сладкого.

А то она спрашивает после ужина:

— Паш, а что у нас на десерт?

На десерт у нас чай с сахаром. Сахара много. Целый мешок.

Интересно, можно питаться только водой с сахаром, или умрешь?

Поздно вечером, когда Гуль уже спала, я сел на кухне и разложил перед собой на столе все деньги, какие остались. Жалкую такую кучку.

Вообще-то деньги на хозяйство у нас сначала были. Они хранились в шкатулке, в уголке кухонного шкафчика. Но в первые два дня я потратил слишком много — на колбасу, на мороженое: я же думал, что мама вот-вот вернется.

Теперь я даже не знаю, на сколько дней надо рассчитывать. Если покупать только хлеб, молоко, и еще докупить макарон, то...

Мне стало страшно. Я понял, что денег нам хватит дня на четыре. Что делать потом?

Конечно, мама вернется, но когда?

У мамы есть такая дурацкая черта характера — она никогда не носит деньги в кошельке, а просто рассовывает по карманам. Тряхни любую ее одежду или старую сумку, и вылетит монетка, десятка-другая, а заглянешь, так и бумажки найдешь.

Я однажды слышал, как мамина подруга, тетя Лиза, ругала маму:

— Ты же легкая добыча для любого карманника! Как ты можешь так небрежно обращаться с деньгами?

Мама отмахнулась:

— Любой карманник точно знает: люди прячут деньги па самом дне своих наглухо застегнутых сумок, в надежных кошельках. Туда-то он и полезет. Никакому вору не придет в голову, что

можно сунуть тысячу рублей прямо во внешний карман куртки. Представь себе, Лизавета, у меня ни разу ничего не украли!

Тетя Лиза продолжала ворчать, что мама просто не знает, какая сумма у нее в кармане, и кражи не заметит...

И еще у мамы в карманах все время дырки. Причем она эти дырки принципиально не зашивает — говорит, что завалившееся под подкладку сберегается куда лучше, чем просто в кармане.

Это замечательно, что мама не носит деньги в кошельке. Потому что у меня есть надежда приумножить наши с Гуль финансы.

Я пошел перетряхивать всю мамину одежду. И действительно нашел еще денег.

Все равно мало.

Чтобы не думать, что я буду делать потом, когда деньги кончатся совсем, я решил поискать пакет с конфетами. Гуль очень любит леденцы, но от леденцов портятся зубы, поэтому еще Шура прятала от нее сладости и выдавала поштучно.

Я начал методично обшаривать все шкафчики. Кажется, в третий уже раз: я же все пересмотрел в поисках круп или макарон. В шкафчиках было полно всякого барахла: какие-то старые банки, крышки, лампочки, свечи, а из продуктов — соль, пакетики со специями и большой мешок с лавровым листом.

Жаль, что лавровый лист есть невозможно, — его-то у нас навалом...

Конфеты не попадались, хотя я был уверен, что они где-то на кухне.

Я вспомнил, что делала Шура, когда что-нибудь теряла, а теряла вещи она часто. Сначала она клялась, что вот именно сюда положила, где сейчас нет, а потом начинала тихонько бормотать про себя: «Домовой-домовой, поиграй да отдай».

И часто вещь находилась — где-нибудь совсем в другом месте.

Я решил попробовать и тоже сказал тихонько:

— Домовой-домовой, поиграй да отдай. Домовой-домовой...

— Леденцы, что ли, потерял? — услышал я над головой.

Я вздрогнул и, быстро вскочив с колен, больно стукнулся темечком о край выдвинутого ящика. У меня с голодухи глюки начались, точно.

На краю стола сидел домовой и серьезно смотрел на меня круглыми печальными глазами.

— Ты кто? — спросил я.

— Аристарх Модестович, — ответил домовой.

— Домовой? — уточнил я.

— Домовой, — как-то смущенно улыбнулся он и пожал плечами. — Не похож, да?

Не похож. Во всех книгах и мультиках, где встречался этот персонаж, он был совсем другой. Я же знаю, как выглядит домовой. Он должен быть маленький, весь заросший бородой, лохматый-кудрлатый, в каких-нибудь лаптях или валенках, в подпоясанной косоворотке. И еще разговаривать так: «Ась? Чегось? Кудась?!»

Все это я, запинаясь, изложил тому, кто сидел на краю нашего кухонного стола.

Аристарх Модестович тихонько засмеялся, пригладил аккуратно подстриженную профессорскую бородку смахнул невидимую пылинку с отворота темно-синего сюртука:

— Друг мой, мы же не в деревне. Если тебе так уж хочется, чтоб я говорил «ась», — я, конечно, могу попытаться соответствовать твоим ожиданиям, авек плезири, как говорится. Но только зачем?

Я сел на табуретку напротив и крепко укусил себя за палец. Потом сказал:

— Послушайте. Этого не может быть. У меня галлюцинации или я сплю.

Укушенный палец болел, а Аристарх Модестович никуда не девался. Так и сидел на краю стола, протягивая мне кулек.

— Вот твои конфеты, юноша. И не надо себя щипать и кусать — я не пропаду, не надейся.

Потому что я существую. Когито, понимаешь, эрго сум.

«Мыслю, следовательно, существую», — машинально перевел я про себя это латинское выражение. У нас был факультатив по Древнему Риму, и мы учили самые известные поговорки.

— Прими ситуацию такой, как она есть. Давай поговорим? — предложил Аристарх Модестович.

— Домовой, который знает латынь, — это что-то новенькое, — вздохнул я.

— Ну, дружок, я и древнегреческий знаю, и староанглийский... Впрочем, я много языков знаю, живых и мертвых. Странно, что ты ожидал увидеть в своем доме домового-лапотника.

— А что тут странного? — огрызнулся я.

— Так ты вспомни, как здешнее место называется! Ну, где дом наш стоит.

— Преображенский переулок, дом двадцать четыре.

— Правильно. Только ведь и ваш переулок, и переулки вокруг — еще и Профессорская слобода. Так это место называлось лет сто назад. Не слышал про такую?

Вроде бы я что-то слышал.

— В нашем переулке жили профессора университета. И доценты. А в этом самом доме жил когда-то, в начале двадцатого века, профессор Тирсов, историк. Изучал скифские памятники и кроме них ничего в жизни толком вокруг себя не видел.

— А как же тут моя бабушка оказалась?

— Бабушка твоя? Она тут родилась.

Я ждал продолжения. Бабушка родилась в 1921 году и никакого Тирсова никогда не упоминала. Рассказывала только про маму свою, Зинаиду Михайловну Соловьеву.

А Аристарх Модестович вспоминал, прижмурившись и явно с огромным удовольствием.

— Давненько я об этом никому не рассказывал, — пояснил он. — Я вообще-то не совсем домовый. Я — университетский.

— Как это? — не понял я.

— Ну как-как! Сказки знаешь? В лесу — леший, в озере — водяной, в доме — домовый, А я в университетской библиотеке жил, в отделе рукописей и редких книг. Нас в библиотеке много было, в каждом отделе по одному. В читальном зале, помню, Игнатий Ликандрович жил, эх, гонял студюзусов! Только они начнут перешептываться, а он на них раз — и сон нагонит. В читальном зале должно быть тихо. Лежат все, носами в волкумы уткнулись — благолепие. Да. А я, в хорошем настроении, иной раз водил библиотекаря вокруг полок. Он ходит, на каталожную карточку поглядывает, бормочет, мол, вот-вот, точно тут книга была, куда же она делась, не пропала ли совсем, сохрани господи... Тут я ему книжку-то и подкидываю на старое место, а он себя по лбу ладонью: «Так вот же она, ах я, старый маразматик!» Весело. Хороню мне было в библиотеке жить...

Аристарх Модестович рассмеялся тоненьким смехом, а потом, посерьезнев, продолжил:

— И вот однажды у нас случилась ужасная беда. Для библиотеки страшнее огня нет ничего — а сгорело у нас тогда страшно сказать, сколько хорошего, а что не сгорело, то пропахло гарью да закоптилось. Сижу я, горюю, жить на прежнем месте никак невозможно, а куда податься? И тут заходит в библиотеку Тирсов и говорит, что как раз сейчас переселяется с семьей в новый дом в Профессорской слободе. Дом, говорит, хороший, а жена молодая, Лидочка Сергеевна, жалуется, что уюта нет. Мол, и занавески повесила в розовых цветочках, и кушетку в гостиной поставила, а все не то. Я, говорит профессор Тирсов, в уюте не очень понимаю, мне лишь бы тепло, да светло, да ужинать вовремя. А Лидочка чуть не плачет из-за уюта этого самого каждый вечер. Тут встрепенулся твой покорный слуга, подумал: это знак, не иначе. Вот, Аристарх, твое новое поприще! Ну и переселился тихонько. Стал новую стезю осваивать — в доме у профессора домовым быть не намного сложнее, чем в библиотеке за порядком присматривать. Конечно, наших стариков-университетских рядом не было, о Таците да Авенариусе поговорить не с кем, зато в Профессорской слободе нашлись свои радости. Вокруг дома Тирсова огромный сад был разбит: яблони, груши, крыжовник, смородина. На каждом дереве по дриаде. Милые были девочки... Соберемся, бывало, вечером под старой яблоней, соловьи поют, девчонки смеются... Лидочка Сергеевна в столовой лампу повесила, с абажуром таким, медового цвета... Лампа светит сквозь ветви — с другого конца сада видать... Эх, были времена...

Аристарх Модестович уставился в кухонное окно и надолго замолчал.

— А потом что? — решил я прервать его молчание.

— А потом, дружок, начался у нас новый пожар. Помнишь классику: «Мы на зависть всем буржуйам мировой пожар раздуем!» Что поджечь, что раздуть — дело нехитрое. Раздули пожар. Все в огне, бегают, стреляют. Революцией это называлось. Тут белые, там красные, а то и всякие серо-буро-малиновые.

Аристарх Модестович вздохнул, потом показал рукой за окно:

— Вдоль парка какая сейчас улица идет, вон та? Запомнил я.

— Проспект Карасева. Руководителя Октябрьского восстания в нашем городе. Ему и памятник стоит на углу.

— Карасева... и даже проспект... Карасев-то твой был разбойник навроде Пугачева, размером только помельче, замесом пожиже. Из студентов его выгнали, болтался по улицам, босаяк, проходимец, а тут на тебе — руководитель восстания! Ну да ладно. А раньше там, где этот проспект, было Ярское поле. Пустошь огромная, казармы, плац... Вот по Ярскому полю-то белые и красные друг друга гоняли. Пушки стреляют, дым, гам. Кровь.

Домовой посмотрел на меня грустными глазами и, спохватившись, сказал:

— Может, не надо тебе про это — про такое печальное? Тебе и без меня невесело.

— Да вы что! — воскликнул я. — Вы же обещали про бабушку рассказать.

— Про бабушку твою. Да. Ну вот, с бабушкой вышло так. Во всей этой неразберихе случилась у Тирсовых долгожданная радость. Лидочка Сергеевна должна была родить ребенка — а Тирсовы очень этого хотели. Пусть и революция, и война, и разруха, и есть нечего, и топить нечем. Когда ребенку настала пора появиться на свет, была зима, ночь, лошадей, чтоб привезти доктора или акушерку, не найдешь. Так что родилась Сашенька Тирсова в этом доме. Зина, горничная Тирсовых, помогала Лидочке, а будущий отец так распереживался, что шубу накиннул да в сад убежал, по сугробам под яблонями и грушами бегать.

Зина его позвала, когда все хорошо завершилось: девочка родилась прелестная.

— Сашенька Тирсова? Это что — моя Шура была? Саша — это же Александра. И Шура — тоже Александра, Но прабабушку нашу Зиной звали...

Домовой досадливо махнул на меня рукой, не перебивай, дескать, и продолжил:

— Сашенька в 1921 году родилась, зимой. А летом пришли товарищи с винтовками и сказали, что профессор Тирсов арестован в университете прямо во время лекции. В доме предписано провести обыск.

— Он заговорщик был? Тайное общество организовал, да?

— Ох, не знаю я, Паш, не знаю. Говорил же тебе, что Тирсов, кроме своих скифов да жены с дочкой, и не видел ничего вокруг себя. А при обыске нашли какие-то письма и — представь себе — револьвер.

— Ух ты!

— А потом они опять пришли и арестовали Лидочку Сергеевну. Сказали, что она против революции и в заговоре участвовала. Ну и все. Расстреляли и Тирсова, и жену его, и еще пятнадцать человек по этому делу тоже расстреляли. Тогда с этим просто было. Присяжные не заседали, адвокат не витийствовал.

Я помолчал. Потом спросил:

— А Шура... а Саша как же?

— А Сашеньку Зина спрятала. Сказала тем, кто еще раз с обыском пришел, что ее это дите, родное. Не Саша Тирсова, а Шура Соловьева. И те — то ли пожалели, то ли разбираться им было недосуг...

Я огляделся: углы кухни тонули в темноте, тикали часы, дом спал, спала в доме моя сестренка Гуль. Я смотрел в тем ноту и пытался представить себе тех людей: Тирсова, Лидочку Сергеевну, прабабушку Зину, маленькую Шуру. У меня получалось какое-то кино с мелькающими черно-белыми кадрами. Я не знал, что сказать. И сказал первое, что пришло в голову:

— Значит, на самом деле мой прадедущка был профессор? А дедушка кто был?

— А Шура-то сама тебе не рассказывала?

— Нет. Шура все время разное говорила: то артист, то летчик...

— То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, — пробормотал Аристарх Модестович. — Ну вот что... Раз тебе Шура не рассказала, значит, и мне не стоит. Дело давнее, и Шуре было виднее, что про себя рассказать, а что утаить. Видишь, сколько лет прошло. Сад наш вырубил, девочек-дриада разогнали, старая груша осталась одна вон там, у забора. Груши, они по двести лет живут иной раз, не то что люди.

Я посмотрел за окно — туда, где росла старая груша. А когда снова повернулся к кухонному шкафчику, никакого Аристарха Модестовича уже не было. Только лежал на краешке стола пакетик с леденцами.

Лялька

Я очень скучаю по Шуре.

— Береги детей, Лялька, — сказала мне Шура, когда уходила насовсем.

Людам хорошо.

Люди верят в разное. Это очень удобно — придумать, что будет потом, и поверить в это.

— Хотелось бы надеяться, Лялька, что там, куда я уйду, мне удастся встретить всех, кого я любила когда-то.

— Конечно, Шура, так и будет.

Шура в ответ смеялась:

— Что ты можешь про это знать, Лялька!

— Когда ты уйдешь, я буду рассказывать Гуль, что однажды, через много-много лет, она сможет встретиться с тобой. Потом. Там.

— Гуль, конечно, тебе поверит. Расскажи ей про зеленый сад, про качели под яблонями, про музыку и теплый ветер. Ладно?

— Конечно. И про то, как там все время цветет сирень, я тоже ей расскажу. И про то, какой там белый песок на берегу реки, и про то, какое там бывает теплое бабье лето — и можно идти по кленовой аллее, шурша оранжевыми листьями, и опавшая листва пахнет, и в воздухе — паутинки.

— Ты говоришь глупости. Лялька. Как это — одновременно и сирень, и бабье лето?

— Там все может быть. Хочешь — будет сирень. Хочешь — будут кленовые аллеи. Хочешь — камушки и песок на прогретом солнцем берегу.

— Лялька, ты пытаешься меня утешить?

— Нет, Шура, я просто знаю...

Если ты сделан из старого фетра, из крепдешина и кружев, то у тебя нет души. Есть только старый фетр, кружева и крепдешин, есть пуговицы и крепкие нитки. И нет души — а есть только знание о том, как все устроено.

Людам хорошо. Когда они уходят насовсем, с ними бывает именно то, во что они верят. Вот моя Шура. Она верила в свой зеленый сад — зеленый сад ее и ждал.

А мне бесполезно верить во что-то. Потому что нас — тех, кто из старого фетра, и кружева, и крепдешина, — нас ничего не ждет. И значит — я никогда больше не увижу Шуру.

Она велела мне беречь детей.

А я их не уберегла.

Я теперь одна в доме. И я не знаю, где Гуль.

Паши не было. Было четыре часа дня. Я ждала, что дети вернутся из школы домой.

И вдруг я услышала, что кто-то открывает дверь. И увидела, как в комнату заходят чужие люди. Три тетки. Они ходили по дому, как хозяйева.

— Так, что тут нас? — говорила одна.

Другая что-то записывала на бумажку. Третья морщилась, оглядывая наши стены.

— Это комната мальчика, — говорила одна.

— Надо взять смену белья и одежды, больше ничего туда не надо, — громко добавляла другая.

— Нет, девочке надо еще взять игрушку, — качала головой третья.

— Куклу.

— Барби.

— Вот она!

— Господи, что они ели? На кухне шаром покати, — вздыхала одна.

— Ну, славабогуславабогуславабогу, теперь не будут голодать, — бормотала другая.

А третья совала в пакет глупую Барби, вниз головой. У Барби слетела туфелька, но тетка этого не заметила. Барби молчала. Она не умеет разговаривать по-нашему. По крайней мере, со мной она ни разу не пыталась поговорить.

— Мы тут все опечатаем! — прогремела где-то в коридоре первая тетка.

— Может, им побольше одежды-то взять? — озабоченно спросила вторая.

— Чтоб другие позавидовали? Да ну еще, лучше не рисковать.

— А что, дети у вас в приюте воруют?

— Да вы прямо не от мира сего, Анна Витальевна! — зло огрызнулась третья тетка. — И у вас воруют, и у нас воруют, давайте будем реалистами уже!

Тетки ходили, чем-то шуршали. И с каждым их словом мне становилось все страшнее.

Я поняла. Что-то случилось. Наверное, тетки узнали, что мама так и не вернулась домой.

Теперь и детей уведут куда-то. В какой-то приют... Чтобы не были одни. И не дадут им больше вернуться домой.

— ...разыскать отца, — донеслось из кухни, куда ушла вторая тетка.

— Отцов! — хмыкнула тетка с пакетом. — Ты детей-то видела? Там явно разные папаши. Ищи-свищи теперь.

— Будем искать, — вздохнула первая тетка. — Но даже если найдем...

Она безнадежно махнула рукой и scomандовала:

— Ну все, заканчиваем.

Хлопнула входная дверь.

Я слышала, как тетки топчутся на крыльце, возятся с замком.

Потом все стихло.

Я сидела в кресле, где оставила меня Гуль, когда уходила сегодня утром. Сидела и смотрела на дверь.

Я очень скучаю по Шуре. По Гуль. По Паше. И даже по их маме.

Буду ждать, когда Гуль вернется. Она вернется.

Она вернется.

Вернется.

Гуль

С утра шел дождь, и прогулку отменили. Вместо этого нас повели в спортзал, соревнования устроили. «Эстафета» это называется. Надо добежать до обруча, стукнуть об пол мячом посерединке, поймать мяч и быстро возвращаться на зад. Я как раз готовилась к старту, когда дверь спортзала открылась и нашу учительницу по физкультуре кто-то позвал. А когда я прибежала к нашей команде и хлопнула Аньку Портнову по ладони, передавая ей эстафету, учительница вытащила меня из шеренги. И сказала: тебя срочно вызывают к директору.

В школе стояла тишина. Только из-за закрытой двери спортзала были слышны очень приглушенные звуки ударов мячом и крики. Я спустилась на третий этаж, и стало совсем тихо.

Мне было немного страшно идти одной по школе. Я, кажется, вообще шла так — одна — первый раз. Да еще и к директору. И непонятно зачем.

А тут вдобавок из-за поворота появилась Недыбайла. И пошла по коридору ко мне. Вот сейчас спросит, куда я иду одна без разрешения, а я скажу про директора, а она мне не поверит, и...

Но Недыбайла поравнялась со мной и сказала:

— А, тебя уже позвали. Пойдем, провожу.

И лицо у нее было какое-то странное. Обычно Недыбайла смотрит очень торжественно, как будто она королева. А тут у нее на лице было нормальное выражение. И она взяла меня за руку.

От этого мне стало еще страшнее.

В кабинет директора Недыбайла вошла первая. И только потом выдвинула меня из-за своей широкой спины.

— Вот Соловьева.

Кроме директора, Ивана Алексеевича, в кабинете сидели какие-то две тетки — толстая и тонкая.

Толстая поднялась навстречу мне и сказала:

— Гулечка, здравствуй! Меня зовут Елизавета Павловна. Я работаю в отделе опеки. Нам с тобой надо поговорить.

И я подумала: «О чем мы можем говорить? И что такое „опека“?»

Сбоку припёка — это я знаю. А «опека» — это тоже с батонами и буханками связано, что ли?

Толстая тетка усадила меня на стул и спросила, как я себя чувствую.

Нормально я себя чувствую! Только мне непонятно, почему все остальные как-то странно молчат.

— Скажи мне, детка, — и Елизавета Павловна погладила меня по плечу. — Скажи мне, твоя мама, она давно не была дома?

Щеки у меня моментально стали горячими.

Паша говорил, что про маму никому рассказывать не надо. Мама обязательно вернется, но никто не должен знать, что мы пока ждем ее дома одни. Потому что у мамы могут быть неприятности, если кто-то про это узнает.

Поэтому я тарасилась на эту Елизавету Павловну и молчала.

— Детонька, не бойся, скажи нам, мамы сколько уже дней нет дома?

Но я молчала.

И тогда они стали спрашивать, где сейчас Паша.

Оказалось, они зачем-то ходили к нам домой, искали маму, потом искали Пашу и нигде его не нашли.

Сначала я ужасно испугалась, а вдруг с Пашей что-то случилось? Но потом подумала: Паша каждый день с утра ходит по делам — и сегодня, конечно, тоже.

А толстая тетка вдруг начала говорить вот что:

— Деточка, дома ведь без мамы плохо, правда? Нельзя, чтоб маленькие дети жили одни, без взрослых, да? И поэтому...

Я не выдержала и перебила:

— Я не маленькая, а Паша вообще давно взрослый! Он меня кормит... макаронами и мороженым. У нас все хорошо, и мама всего несколько... два дня только не приходила, и она сегодня придет, честное слово.

Про мороженое я придумала, чтобы они поверили — у нас все отлично.

Но толстая тетка сказала, что Паша тоже ребенок и жить нам дома одним нельзя.

— Мы сейчас поедем с тобой в одно место — там много детей, там хорошо, весело: и игрушки есть, и книжки, чего там только нет... Поживете там с братиком, а мы поищем вашу маму. Найдется мама — и сразу вас заберет.

— Я не хочу никуда ехать. Я домой хочу.

— Как только мама найдется, так и домой поедешь. А вдруг маму придется долго-долго искать, до зимы, например, да? Вы же не можете жить одни до зимы, правда? У вас ведь и денег нет, наверное?

Тетка что-то еще говорила и говорила. Но у меня вдруг так зашумело в ушах, что я перестала ее слышать.

А вторая тетка встала и сказала, что сейчас придет машина. Они встретят эту машину на крыльце и потом заберут меня.

Когда они ушли, в кабинете директора стало тихо. Иван Алексеевич переключивал на столе какие-то бумажки, а Недыбайла вздыхала и смотрела то в угол комнаты, то в окно.

— Иван Алексеевич, — сказала я, — а откуда они узнали, что мамы нет дома?

— Мама твоя должна была в клуб зайти — принести работу, но не пришла. Слишком долго не приходила — и там заволновались, конечно, стали разыскивать. И позвонили в милицию, а уж милиция сообщила в опеку, — вздохнул директор.

И тихо спросил:

— Как же вы одни? Сколько дней мамы на самом-то деле нет, а. Гуль?

— Не знаю. Давно уже.

Мне еще хотелось спросить, найдут ли маму, Но откуда Иван Алексеевич может это знать?

Павел

Я просыпаюсь каждое утро и думаю, что сейчас открою глаза и увижу наш темный дощатый потолок, мой старый письменный стол в углу, фотографию Шуры на стене.

Но потолок надо мной белый.

Мы с Гуль живем теперь в приюте. Называется он ЦВС — Центр временного содержания детей, оставшихся без попечения родителей. Приют.

Идиотская ситуация.

Мы не нуждаемся в том, чтоб нас кто-то приютил. У нас есть свой дом.

Когда нас привезли сюда, я думал, что это ненадолго. Но мы здесь уже вторую неделю.

Я просыпаюсь каждое утро и думаю: а что, если это навсегда?

Тот день начался не очень хорошо. Я отвел Гуль в школьный лагерь, вернулся домой и еще раз пересчитал все деньги. Звучит, конечно, очень важно: «все деньги», а на самом деле у меня осталось сорок пять рублей — не деньги, а крохи.

И я пошел на улицу; я не мог сидеть один, мне надо было подумать, что предпринять.

Я брел куда глаза глядят, а когда поравнялся с торговым центром на углу, полил дождь.

Пришлось зайти внутрь — переждать ливень.

Длинная лестница эскалатора ползла вверх, на зеркальные верхние этажи, и вниз — к подземной парковке и продуктовому магазину. Я сел на скамейку. С одной стороны от нее стояла какая-то пальма, усыпанная пластмассовыми мандаринами, с другой журчал фонтан. Было прохладно, играла тихая музыка.

Я сидел и думал, где можно раздобыть денег.

На работу меня не возьмут, возрастом не вышел.

Попросить у кого-то... у соседей? У знакомых? Тогда придется рассказать, что мамы нет...

Рядом со мной уселась женщина с кучей пакетов. Она достала портмоне и начала рыться в нем, что-то разыскивал. А я краем глаза смотрел на пачку тысячных купюр, которые распирала это ее портмоне. Если бы мне хотя бы одну такую зеленую бумажку...

Я никому не расскажу, о чем тогда думал. Это не те мысли, которыми стоит делиться. Потому что я сидел на скамейке целый час и мечтал... Нет, не мечтал, а строил планы, как бы исхитриться и стащить у кого-нибудь кошелек. Можно, например, отвлечь, толкнуть... Я понимал, что никогда не решусь на такое. Что я не сумею этого сделать. Но может быть, кто-то потеряет кошелек? Или хотя бы одну купюру обронит незаметно для себя?

В уме я уже потратил пару свалившихся с неба тысяч, и тут мои мечтания вдруг прервали:

— Привет! Ты что здесь делаешь? — услышал я знакомый голос.

Кира!

Она стояла передо мной насквозь промокшая, с волос капала вода. Дождь на улице еще продолжался.

— От дождя спасаюсь, — сказал я.

— Угу. Вот и я тоже, — кивнула Кира. — Как каникулы проводить?

— Ну как... — неопределенно помахал я рукой в воздухе. — Обыкновенно, как все.

— Слушай, а ты куда не торопишься?

— А что? — обрадовался я.

Погулять с Кирой было бы очень здорово. Конечно, это мне полагалось бы ее пригласить, но Кира меня опередила:

— Пойдем в кино — в кинотеатре через полчаса сеанс?

Я сдуру чуть не сказал «пойдем». Так обрадовался, что на миг забыл главное — свои сорок пять рублей в кармане. Какое уж тут кино!

— А что за фильм? — спросил я, стараясь, чтобы это прозвучало небрежно.

— Фантастика какая-то.

— Нет, фантастику я что-то не очень, — я даже головой помотал для убедительности.

— Ну и ладно, — легко согласилась Кира. — Пойдем тогда просто кофе попьем?

Я снова запаниковал. Но вовремя глянул за стекло: дождь как раз кончился, и все, кто прятался в холле торгового центра от дождя, начали расходиться.

— А давай лучше купим мороженое и погуляем? Вон дождь кончился... Чего тут сидеть-то? — предложил я и подумал:

«Хоть бы согласилась. На мороженое у меня денег хватит!»

И она согласилась!

Это было последнее хорошее, что случилось тогда.

Я потратил последние сорок пять рублей на мороженое для Киры, мы побродили по парку. Даже и не помню, о чем мы разговаривали. Потом Кира заторопилась домой. Я тоже глянул на часы и понял, что мне через полчаса забирать из школы Гуль.

Утром-то я поел хлеба с солью и запил его сладким чаем, а теперь был уже пятый час, и есть хотелось ужасно.

Только денег ни копейки не осталось.

И тогда я вернулся в торговый центр и пошел вниз, в супермаркет.

В макаронах слишком много воздуха. Из горсти каких-нибудь рожков ничего не сварить. А вот рис — другое дело.

Я двинулся как во сне. Охранник посмотрел на меня подозрительно, а может быть, мне показалось. Но я поскорее взял тележку, положил в нее буханку хлеба, молоко и пошел к полкам с крупами. Мальчик у полки с гречкой и рисом не вызывает ни у кого интереса. Никто не подумает, что человек собирается воровать рис.

А ведь именно это я и хотел сделать.

Когда я, покрутив для отвода глаз пару разных пакетиков в руках, надорвал ногтем один из них и запустил руку в отверстие, сердце у меня застучало где-то в горле.

Я насыпал рис в оба кармана. Не много — чтоб карманы не оттопыривались. Но и не мало — чтоб хватило на кашу.

А у кассы улыбнулся девушке:

— Простите, я, оказывается, кошелек забыл. Можно тележка тут постоит, пока я сбегаю домой за деньгами?

И она мне тоже улыбнулась.

Я — на вид спокойнее некуда — вышел из магазина. Ужин у нас с Гуль сегодня был.

Денег не было.

Но я шел в сторону школы и старался не думать про деньги. Потому что как только я думал, что денег у нас теперь нет совсем и что я первый раз в жизни украл, мне становилось холодно.

Вся малышня носилась по двору, а пожилая учительница ашек сидела на лавочке и читала книжку.

Я поискал Гуль глазами. Не нашел. Учительница подняла голову, увидела меня и встрепелась:

— Павел! Ты за сестренкой пришел?

Я каждый день в это время прихожу за сестрой, что за идиотский вопрос? Я был мрачный, голодный, без денег, я не знаю, чем завтра кормить Гуль, и мне ужасно захотелось нахамить.

— Ты... тебе... Павлик, тебе надо к директору зайти. Тебя искали...

И я сразу подумал: с Гуль случилось что-то плохое. Заболела, сломала ногу, упала, ударилась головой, увезли в больницу...

Гуль действительно увезли. Но не в больницу.

В кабинете директора меня посадили на диван, налили чаю, сунули в руки какое-то засохшее печенье, и Иван Алексеевич начал объяснять мне ситуацию. Там было все: от «ты же мужчина, глава семьи, пусть маленькой, но семьи» до «в приюте будет хорошо, а потом и мама найдется».

Я ничего не слушал. Во-первых, печенье оказалось очень вкусное, но мне дали только одно, а я хотел есть. Во-вторых, я опасался, что высыплется из кармана рис. А в-третьих, мама, конечно, найдется, о чем тут говорить.

Гуль

Никогда в жизни не видела девочек, остриженных наголо.

— Ты девочка или мальчик? — спросил Паша, когда ее увидел.

— Щас как дам, — пообещала ему стриженная.

Мы все сидим за одним столом. Столовая большая, а нас почему-то мало, всего десять человек. Четыре совсем больших девочки, какие-то маленькие мальчики, Пата, я и эта стриженная.

Она появилась утром, сразу пришла на завтрак.

Нас кормят гречневой кашей, сосиской и какао с молоком.

Каша недосоленная, так что я ем сосиску и пью какао. А стриженная съедает все и закусывает двумя ломтями хлеба, посыпав их крупной солью.

До сих пор вторая кровать в моей комнате была пустая. Я спала одна, большие девочки живут где-то в других комнатах и, кажется, в основном строят глазки Паше, а на меня вообще ноль внимания.

Я не хотела никому говорить, что мне страшно спать одной, просто попросила, чтобы пас с Пашей поселили вместе.

Но воспитательница сказала, что так нельзя. Весь день вместе можно, а жить девочки и мальчики должны в разных комнатах.

Я не знаю, как зовут воспитательницу. На самом деле их тут не одна и они все разные. Молодые и старые. Но я специально не смотрю ни на кого и не хочу запоминать, как кого зовут.

Мы же тут ненадолго, зачем привыкать?

Мама скоро найдется и нас заберет.

После завтрака стриженная девочка идет со мной в комнату, забирается на пустую кровать и начинает прыгать на ней как на батуте. Кровать скрипит и шатается, а стриженная болтает без умолку.

— Меня Юшка зовут! Ну, Юля, поняла? А лучше Юшка, ага? Ты тут давно? Я тебя не видела раньше! А я тут третий раз, поняла? Тут ничего, воспиталки нормальные. Только нету сейчас никого. Народу, говорю, знакомого нету. Наши все, ну, кто тут бывает, — все при делах, ну что. Лето же, вот так. В тот раз мы тут, в этой комнате, с Ленкой жили. Ленку знаешь? Ленку-ворону? Ну да, я поняла. Ты никого не знаешь, ты ж новенькая!

Она смешно говорит. Неправильно. Надо говорить поняла, а Юшка говорит поняла.

Можно ее поправить. А еще можно спросить, почему Ленка — ворона: у нее это прозвище или фамилия? Если прозвище, то, наверное, эта Ленка черненькая и с длинным носом. Но я молчу. Просто сижу и смотрю на Юшку. Я же тут ненадолго, зачем мне знать про эту Лепку. Я и не увижу ее никогда.

Юшке и не надо, чтобы я говорила. Она продолжает трещать.

— Думаешь, при чем тут лето, да? Так тепло же! Бегунов вообще не ловят. На них летом никто даже внимания не обращает. Из людей никто. Ну, из народа, который по улицам ходит. Вот зимой, там, конечно, не побегаешь, сразу кто-нибудь жалостливый найдется, остановит, спросит, что ты тут одна делаешь, а может, ты бродяга или вообще бомж... Да и хорошо, холодно же зимой-то!

Юшка шмыгает носом:

— Прикинь, я однажды от мамки сбежала в феврале. Ну мороз, так я в магазинах грелась. Но жрать же охота, поняла? Стою у киоска, говорю дядьке одному там. Он сигареты покупал. Говорю: дядь, дай десять рублей. Он меня схватил тут же и к ментам. Ну, в милицию. Я думала, куда он меня потащил, испугалась, может, псих какой-то. Только орать собралась, а тут менты, прикинь? Говорят: ты откуда, ты кто, адрес давай, фамилию... А я ж не дура какая, чтоб к мамке возвращаться. Мамка еще разозлится, что я сбежала. Я молчу. Они ничего не узнали. Ну и сюда меня. Да ничего, тут как раз и пожрать нормально было, и девчонки.

Мне становится немного интересно, зачем Юшка убежала из дому, тем более зимой, когда холодно.

— Вот я тогда со всеми и познакомилась: с Ленкой, с Катюхой-толстой, ну, ты не знаешь. Лейка от нас недалеко живет, мы с ней, когда нас домой отправили, виделись потом. Она прикольная, у нее родители знаешь кто? Ни за что не угадаешь! Цыгане! Ну, цыгане, ты что, не слышала никогда? Они детей воруют и гадают здорово. Ленка нам всем по руке гадала и на картах — карты нам большие пацаны дали. И вот Ленка говорит: всем вам, девки, казенный дом. Ну и там... про любовь еще говорила, но это секрет, поняла?

Юшка плюхается на пузо и лежит, отдыхает от прыжков.

— А Ленку все время на улице ловят, она ходит, денег просит, гадают, а потом ее отсюда свои забирают — такая толпа подваливает, все в юбках, все с такими косами длинными, черными. Цыганки, поняла?

Бабушка моя пела про толпу цыганок и Кибитку Кочевую. Я думала, что все цыганки уже умерли тогда, когда Пушкин умер. Двести лет назад. И их предводительница Кибитка Кочевая тоже умерла. А оказывается, какие-то цыганки еще есть. Может, и Кибитка Кочевая где-то есть тоже.

— А меня тут опять подержат-подержат и домой отправят. Мамка там, ну, где тетки из опеки сидят, полы моет. Уборщица у меня мамка, поняла? Тут у некоторых родители вообще непонятно кто, только пьют да колются, а у меня мамка... иногда ничего бывает, поняла? Она поплачет-поплачет, меня ей и вернут снова. Они, конечно, грозятся, что прав лишат, а меня тогда в детдом, но это просто так, это они путают. А сейчас меня на вокзале поймали, в электричке. Я покататься хотела, а тут контролеры. Кричат: «Чей ребенок, чей ребенок?» Ну и замели меня. А у меня, прикинь, температура. Ну вот, в больницу меня, значит, а там обрили, козлы, говорят, так надо. И потом уже сюда — а тут никого наших и нет. Ты вот только и есть...

Юшка вздыхает.

— Хотя ты ничего девчонка. Только чего ты такая черная-то? Может, тоже цыганка? Нет? Не цыганка? А кто тогда? Нет, точно, нерусская ты какая-то. У тебя мамка где?

В общем, с Юшкой было нормально. Она все время болтала, а я кивала и помалкивала.

И так прошло несколько дней.

Каждое утро я просыпалась и думала: «Наверное, сегодня. Наверное, сегодня мама найдется, и мы пойдем домой».

А Юшка говорила, что не хочет домой, а хочет просто на волю.

Тут скучно. Ну, показывают нам мультики, а в основном мы слоняемся без дела. Смотрим в окно. Окно нашей комнаты выходит в сад, не на что смотреть. Зато и коридоре, в холле, где стоит телевизор, окно выходит на улицу.

Этот приют «Светлый дом», где мы временно живем с Пашей, окружен забором. Забор высокий, кирпичный, на воротах проходная, там охранник сидит все время. Вот окна в коридоре как раз и выходят на будку этого охранника. А за забором видно улицу, там ездят машины, на углу овощной киоск и остановка троллейбуса. Тоже не очень-то интересно, но все-таки...

Паша пошел в библиотеку, библиотека здесь маленькая, но, может, Паша себе что и раскопает почитать — ему без книжек совсем плохо.

А мы лежим животами на подоконнике па третьем этаже и смотрим вниз. Юшка еще туда плюет — хочет попасть в кусок кирпича под окном, а я просто так лежу и смотрю.

У ворот остановилась машина. Из нее вылезли тетка с большой сумкой и милиционер.

— Во! — обрадовалась Юшка. — Смотри, мент! Интересненько! Пошли разведем, зачем эти приехали? Может, кого переведут от нас, а может, меня домой отправят... Хотя вряд ли: тетка незнакомая. Если бы за мной, то из нашей опеки бы пришла, Катерина Сергеевна.

А может, наша мама нашлась, подумала я. Но если нашлась, почему сама не приехала? Наверное, ей некогда, она нас дома ждет.

Мы с Юшкой спрятались за шкафом у кабинета директора. И видели, как эти двое вошли к директору, а потом секретарша директорская куда-то побежала и вернулась с Пашей.

А меня почему-то искать не стали... Если бы нашлась мама — наверное, нас бы обоих позвали... Паша рассказал мне про то, как он рис украл. Вдруг этот милиционер пришел его арестовать? Вдруг они узнали?

Я решила подобраться поближе и подслушать. Знаю, что подслушивать нехорошо, но это же мой брат. Вдруг его надо защитить от мента? Если они будут обвинять Пашу, я ворвусь и скажу: «Не троньте моего брата!»

И я все слышала, что они говорили Паше.

Я все слышала.

Сначала про то, что он уже взрослый, чтоб он мужался, потому что у них плохие новости, и я никак не понимала, что такое они говорят, я слушала, слушала, все слова были понятными, но они рассыпались, как стеклянные кубики, они катились, звенели, раскалывались на тысячи острых, кусочков и блестели так, что слепило глаза и нестерпимо болела голова, и мне казалось, что эти стеклянные кубики и осколки кружатся, кружатся у меня перед глазами, и я куда-то лечу и пытаюсь уцепиться из последних сил за край, но пальцы соскальзывают, и я бегу, бегу по песчаной дороге и в это же время вижу себя со стороны...

...Песок под ногами у Гуль был белый-белый, как сахар. Дорога вилась через поля, солнце слепило глаза, макушку пекло, и когда с холма неожиданно открылся вид на далекие равнины и петляющую у подножия речку, Гуль побежала к воде со всех ног. У воды сидел верблюд.

— Стой, — сказал ей верблюд. — В нашей стране давным-давно нет людей. Откуда ты., девочка?

— Я пришла по дороге. А куда делись все люди?

— Долгая история. Однажды утром наша королева пошла по своим делам.

— А какие у королевы дела?

— Не перебивай, девочка. Ну, пошла она по делам — в магазин, например, или к друзьям на вечеринку.

— Утром, на вечеринку?

— Не перебивай, — сквозь зубы сказал верблюд. — В общем, она вовремя не вернулась. Мы ей звонили-звонили, а ее телефон всегда был вне зоны действия сети.

И верблюд грустно кивнул на берег. Сколько хватало взгляда, весь берег был покрыт разложенными для просушки сетями.

— Да, да, много раз мы закидывали в море невод. То есть и в море, и в реку, и во все озера, сколько у нас есть, и даже в лужи, бочки с дождевой водой, чайники, стаканы с чаем...

— И приходил невод с одною тинной?

— Не только с тинной.

Верблюд достал из кармана длинный пергамент:

— Ботинок...эээ... ботинков... ботинок... ну ладно, неважно. Ботинков на левую ногу — сто восемьдесят четыре тысячи штук, на правую ногу — пятьсот восемнадцать штук...

— А почему такая разница?

— Не перебивай, девочка! Это загадка природы, ждущая своего исследователя... Вилки алюминиевых неполнозубых — триста девять тысяч. Бутилок с джиннами, корабликами, записками — всего двадцать четыре...

Верблюд добубнил длинный список до конца, свернул его и сказал радостно:

— А телефон королевы в наши сети так и не попался. Ура!

— Почему «ура»? — спросила Гуль.

— Потому. Значит, королева не утонула. Это уменьшает вероятность плохого конца на целую четверть.

— А люди?

— Какие еще люди?

— Вы начали рассказывать мне, куда делись люди.

— Все ушли, — понурил голову верблюд. — Объявилась в наших краях народная героиня. Глаза как молнии, голос как гром, смелая-пресмелая. Звали ее Кибитка Кочевая-. И сказала она народу: «Пойдем все, за мной! Искать королеву. Потому что без королевы — какая жизнь?» И ушли все за ней, за Кибиткой Кочевой.

И верблюд заплакал.

— А почему вы плачете?

— Потому что некогда нам с тобой разговаривать, пора обедать, обедать пора, пойдём...

— Пойдем, Гуль, обедать пора!

Щи. Ложка сметаны в щах. Макароны. Котлета. Кисель. Спасибо. Кран с водой — помыть руки. Вода течет, блестит.....в реке, накатывается волнами на песок.

— Но теперь королева вернулась, — верблюд машет копытом, указывая куда-то вдаль. И Гуль видит, как на горизонте встает сияющий замок с розовыми флагами над сахарными башенками.

— А народа нет? — ахает Гуль. — Как же теперь? Не дождались?

— Понимаешь, — грустно кивает верблюд. — Не дождались. Она просто ходила погулять туда-сюда. А народ съел все макароны, все мороженое и ушел куда глаза глядят. И вот я сижу здесь и жду: может, найдется кто, побежит следом за народом, скажет ему: возвращайся, домой! Вернешься, и все будет хорошо. Все будет как прежде.

В новом, мире Гуль наступает вечер. И он длится, длится... Она лежит, прижавшись к белому бархатному боку верблюда, и смотрит на звезды. Верблюд рассказывает ей сказки. Много-много бесконечных, сказок.

Павел

Я не интересовался подробностями — все равно я уже ничего не могу сделать.

Мамы нет.

Теперь мы с Гуль одни на свете.

Все удивляются, что Гуль не плачет. Она на самом деле не плачет. Но я очень боюсь за нее: она стала такая странная.

Если в первые две приютские недели Гуль разговаривала со мной как обычно, а со всеми остальными, включая Юшку, шепотом и была немногословна, то теперь нет и этого.

Гуль стала послушная: сразу встает и делает то, что ей велят. На завтрак? Гуль идет в столовую. Смотреть кино? Гуль садится перед телевизором. Со спокойным лицом. Но мне кажется, что она где-то не здесь: рядом со мной лишь оболочка прежней Гуль, а сама она далеко, и я не могу до нее докричаться.

Когда я беру ее за руку, она медлит пару мгновений, а потом поднимает голову и смотрит на меня скучными глазами. И молчит. Даже не улыбается.

Ее осматривал врач, сказал, что все нормально. Еще сказал очень умное: у твоей сестры посттравматический синдром.

И объяснил, что это значит. Случившееся так ударило мою сестру, что ей стало очень больно. Представь, скапал мне доктор: поранил ты руку. И от любого, самого незначительного, движения рука твоя болит. Ты ведь постарайся этой рукой совсем не шевелить, чтоб было не больно и скорее все зажило? А твоя сестра поранила душу. Вот она и бережет ее, чтоб было полегче.

Еще доктор сказал: теперь надо подождать. И все пройдет.

Я только на это и надеюсь. Потому что устал быть все время один. Гуль все равно что нет, а больше тут и поговорить-то не с кем. Ну, правда, вот эта Юшка — она забавная. С ней иногда можно поболтать. Я сперва решил специально к ней подкатиться, чтоб она не обижала Гуль. Но,

кажется, зря боялся: Юшка относится к моей сестре покровительственно, водит ее в столовую, напоминает, что надо почистить зубы, и вообще разговаривает с ней так, будто все нормально. Хотя Гуль ничего не отвечает и Юшке тоже.

Время идет, но ничего не налаживается, наоборот, мне кажется, что Гуль уходит от меня все дальше и дальше.

Иногда мне хочется заорать на нее и начать трясти за плечи, чтобы разбудить. Но я понимаю, что это не поможет.

И вот еще дурацкое дело: мне бы следовало горевать двадцать четыре часа в сутки, а я сейчас думаю о маме только рано утром и поздно вечером, когда остаюсь совсем один. Днем мне просто скучно и тягостно. Хотел заняться английским: у меня с собой крошечный томик рассказов О. Генри — не вышло. Открываю его — и ничего не понимаю. Словно враз забыл весь английский язык.

Я, наверное, какой-то душевно тупой. Я даже не плакал ни разу после того, как приехали тогда и сказали про маму. Гуль вон как горюет, а я ничего. На мне это никак не отразилось.

Этот ЦВС, он — как тюрьма. Нет, конечно, тут решеток нет и стены расписаны весело: винни-пухами, смешариками.

Лукоморьем... Занавески светленькие, кормят нормально. Только очень скучно. И народу совсем мало. Недавно привезли пацана с вокзала, бегуна. Нормальный пацан такой, одет чистенько. Говорит, что уже пятый раз бегаёт из дома, путешествовать его тянет. Пацана этого тут день всего подержали, а потом за ним мать и отец приехали. Мать плачет, отец молчит. Не понимаю, чего ему не хватает: у него и папа, и мама, и дом.

У нас с Гуль остался только дом. Но я там не был уже месяц.

Мне сказали, что нас переведут в детдом, когда будут места. Пока, дескать, мест нет, к осени появятся, и тогда уже мы будем детдомовские. А в детдоме — я узнавал тут у девчонок — посвободнее. Отсюда одного за ворота не выпускают, а там можно будет в школу ходить, и я смогу ездить домой иногда. Мне сказали, что дом опечатан, но я найду способ пробраться внутрь. Можно, например, окно разбить.

И еще я, как дурак, скучаю по Кире. Мне кажется, что я ее, ну, люблю, что ли. Однажды я даже уговорил секретаршу, и она разрешила позвонить по директорскому телефону: на моем сотовом деньги давно кончились. Трубку взяла Кирина мама и голосом, очень похожим на Кирина, сказала, что Кируся в Англии, в языковом лагере. До середины августа. Что ей передать? А что я ей передам? Кира в Англии — а я в ЦВС. Передал привет и отсоединился.

Лялька

Однажды Шура спросила меня:

— Лялька, знаешь, чего больше всего боятся люди?

— Скажи-скажи, Шура, ведь ты спрашиваешь это только ради начала разговора, правда?

— Люди боятся одиночества, Лялька. Если человек один, он чувствует себя никчемным и несчастным.

— Шура, по-моему, люди готовы думать, что они ненужные и несчастные, даже если вокруг них куча народу. Люди вообще нелогично себя ведут.

— Я это к чему? Вот Гуль вырастет и станет разговаривать с тобой все реже и реже. И однажды вообще забудет, что ты все понимаешь. Что ты тогда будешь делать?

— Гуль не забудет.

— Ах, мне бы твою уверенность, Лялька! Люди умудряются забыть самое дорогое и важное. Так что всякое может быть, как бы тебе со временем не разочароваться...

— Я не умею разочаровываться, Шура. Это ваше человеческое дело. Очаровался — разочаровался, полюбил — разлюбил. У меня есть Гуль, и это навсегда.

И вот я сижу в пустом доме. Времени для меня не существует, а зимы, которая придет через несколько месяцев, я не боюсь — мне не бывает холодно.

Я могу подумать обо всем, не торопясь.

Я думаю, что однажды придет Гуль. Через неделю или через десять лет — это совершенно неважно.

И я целый день слушаю, слушаю.

Гуль была права. Под крыльцом на самом деле живет жучиная семья. У них там куча народу, и трудно разобраться, кто кому тетушка, племянник или двоюродный дед. Я иногда слышу, как они шумят, рассаживаясь пить чай. На редкость дружное семейство, спорят только из-за мест за столом. А так никаких разногласий.

Я ни разу не видела никого из них — они не заходят в дом.

Гуль сделала для жуков кровать из скорлупы грецкого ореха. Начиталась Андерсена. А жуки приспособили скорлупку под сундук. Что они там прячут, не знаю. Но надо порадовать Гуль — ее подарок пригодился-таки.

Время от времени на крыше стрекочут сороки, ночами цокают под полом крохотными коготками мыши. Но мышам в доме нечего есть. Кажется, они собираются всем кланом переселиться в другое место.

А сегодня утром, когда солнечный луч дополз по пыльному полу как раз до края моего платья, я услышала какой-то шум на чердаке, и почти сразу вслед за этим во дворе раздались голоса.

Я насторожила уши под шляпой.

Голоса были незнакомые.

Воры?

Или опять государственные тетки?

— Так кем вы им. Люба, приходитеесь?

— Деточкам? Ой, как тут разберешься? Троюродная тетка я им. А то четвероюродная, что ли? Александра Васильевна покойная моему отцу двоюродная сестра была, вот и считайте.

— Ну, стало быть, не близкая родня, вашему забору двоюродный плетень... Документы у вас есть какие-нибудь про это?

— Да говорю вам — Соловьева я, по отцу. Вы меня подозреваете, что ли, в чем? Я, можно сказать, святое дело задумала, грех вам подозревать! Не близкая родня, не близкая, да ведь жалко сироточек-то, бог велит сироток пригревать. Я как узнала, все сердце у меня зашлось, как же тут деточки одни, все же родная моя кровь.

У задней двери, там, где никто никогда не входил, топтались, судя по голосам, двое, возились с замком.

— Ключи запасные от обеих дверей у меня — Шура сама дала. Через крыльцо мы бы все равно не прошли, там ведь запечатано все, милицией, а эту дверь уж лет десять, почитай, не открывали. Вот дров тут навалили. Милиция, небось, ее и не увидела, не то тоже бы запечатали. Только все равно — нехорошо...

— Так про ключи ж никто не знает, что они у вас? Да вы не волнуйтесь, Лариса Михайловна, я ж вас отблагодарю, а вы ничего не видели, ничего не знаете... Я ж не то что из дому чего тащить, упаси боже, все сироточкам, все ихнее. Да вы сами со мной пройдите, посмотрите, вам и спокойнее будет. Просто надо мне глянуть, что там в доме и как. Я вот опеку на деточек оформлю и приеду с ними жить, дом-то ведь, получается, мой, от тетки моей наследственный, если по совести-то. По закону, может, оно и не так, а по совести...

Тетка Люба — женщина с цепким взглядом, тонкими крепко сжатыми губами и длинным носом — прошлась по всем комнатам, постучала по всем перегородкам, заглянула в шкафы и сунула голову в печь.

В каждой комнате она становилась посередине, крутила носом туда-сюда и зачем-то начинала прыгать. Бух, бух. Половицы скрипели, я даже начала опасаться: как подломится под ней доска, так и конец попрыгунье. Провалится в подпол и будет там жить с мышами.

При этом с лица тетки Любы не сходило выражение сосредоточенности: будто она проводит важные испытания.

Так и оказалось.

Пока соседка, причитая, возилась с поливкой запыленных алоэ и аспарагусов, тетка Люба села в бабушкино кресло как раз напротив меня.

Посидела, отдуваясь и обмахиваясь газетой, и сказала сама себе.

Сама себе. Но я-то ее слышала.

— Слава богу, своими глазами посмотрела. Развалюха, не приведи господи. Полы ходуном ходят, из окон дует. Нашли тоже дуру: воду на горбу таскать, печку топить... Я-то думала — правда дом, а тут без удобств, без ничего. И земля под домом все равно ихняя — сиротская. Это значит — что? Это значит: я их расти, я в трущобе этой мучайся без горячей воды да с дровами, а потом меня пинком под зад? Вали, мол, от нас, тетка, выросли мы! Землю продадут, квартир себе понакупят, сами будут в шоколаде, одна я со своей доброй душой в дурах. Хорошо удумали! Нет уж. Небось не пропадут без меня. Государство у нас богатое, всех накормит, всех напоит. Был бы еще дом, куда ни шло. Нет-нет. Счастье, что сдуру не согласилась.

Тетка Люба задумчиво покрутила золотой кулончик — скорпиона. На второй цепочке, чуть пониже, у нее висел блестящий и тяжелый золотой крест. И пропела, вставая с кресла, голосом в два раза более сладким, чем вначале:

— Спасибо, Ларисмихална, пойдемте, я все посмотрела!

— А дети-то там как, видели вы их?

— Видела, бедняжечек, конфеточек им отнесла, — улыбалась тетка Люба, оттесняя соседку к двери. — Только вот не знаю, сумею ли документы собрать, отдадут ли мне племяшей-то. Так все сложно у нас, так все непросто... Ну даст бог, все устроится в лучшем виде.

Снова поклацали ключом в замке.

Стало тихо.

Значит, все. Мама Гуль и Паши уже не придет. Иначе тетка не говорила бы про них «сироты».

И тут я заволновалась.

Эта тетка детей не берет.

Дети сюда не вернуться.

А как же я без Гуль?

Как же Гуль — без меня?

Я, конечно, готова ждать и десять лет, и двадцать. Но в глубине души я надеялась, что Гуль вернется скорее.

Правда, у меня нет души. И глубины души, получается, тоже нет.

Вдруг наверху опять зашумело, потом я услышала шаги, потом — как кто-то, пыхтя, открывает чердачный люк.

А потом кто-то спрыгнул вниз.

Павел

Ничего не налаживается. Может быть, время кого-то и лечит, но моей Гуль лучше не становится. Кажется, она, наоборот, уходит от меня все дальше и дальше.

Я придумал, что делать.

Я принесу ей Ляльку.

Только сейчас сообразил, что Гуль, которая не расставалась со своей Лялькой ни на день, ела вместе с ней, спала в обнимку, советовалась по любому вопросу, уже столько недель не вспоминает про нее.

Лялька сумеет позвать Гуль так, чтоб она вернулась.

Скажете, я сошел с ума? Куклы не разговаривают?

Ну а Шура? Шура тоже уверяла, что Лялька умеет говорить, просто не все это слышат.

Конечно, Шура была без пяти минут с приветом, Гуль теперь тоже ку-ку, отсюда и вера во всякие фантазии. Но я-то нормальный! По крайней мере, настолько, чтобы не слышать Лялькиных речей. Но, с другой стороны, я видел Аристарха Модестовича, разговаривал с ним. Допустим, мне с голодухи примерещилось. А леденцы откуда взялись? Сам я их, что ли, нашел, не помня ничего, как лунатик?

Так что принесу в приют Ляльку. А если не поможет... не знаю, что тогда.

После обеда, когда все собрались в холле смотреть какой-то сериал, я сел рядом с Юшкой на ковер и тихо сказал ей:

— Дело есть.

Юшка человек понятливый, даром что болтушка. Она мне, не разлепляя губ, шепнула:

— Через пять минут на крыльце.

Это правильно, на улице нас труднее подслушать.

Я вышел па крыльцо первым, сел на ступеньку и принялся старательно делать вид, что сижу тут просто так.

И заодно стал соображать, как можно свалить отсюда.

В голове одновременно всплыли все фильмы про побеги из тюрем, которые я видел. Ну, мне-то проще будет, вышек с охраной у нас нет, решеток нет...

А что есть? Во-первых, забор. Кирпичный, высоченный. Я через него не перелезу. Впрочем, если подставить какой-нибудь ящик, да если еще кто-то подсадит снизу, можно попытаться. Вопрос — где перелезть? И где взять ящик?

Во-вторых, окна. Кабинет директора, медпункт, столовая. У каждого окна может оказаться кто-то из взрослых. А попытка у меня будет одна, потому что если поймают, то начнут следить. А я все же не Монте-Кристо.

Да нет, не читал я про этого Монте-Кристо. Два толстых тома, очень нудно написано. Мне бабушка про него рассказывала, когда я был маленький. Говорила: вырастешь — прочитаешь.

Словом, сижу я на этом крыльце и чувствую себя помесью диверсанта со спецагентом. Только при этом надеюсь, что сейчас придет мелкая девятилетняя девчонка и волшебным образом решит все мои проблемы.

Юшка села рядом, достала из кармана семечки, протянула мне:

— Будешь? Чего хотел?

— Юшка, а откуда ты семечки берешь? В столовой не выдают, а в киоск вроде бы никого не пускают.

— Ты это, что ли, хотел спросить? Ну так я пошла тогда.

— Не это. Погоди. Помощь твоя нужна.

Ситуацию Юшка просекла быстро.

Кинула на меня беглый оценивающий взгляд и хмыкнула: — Знаешь что, Шварценеггер? Через забор ты не перелезешь.

— Почему?

— По кочану. Лох ты потому что.

— А если подставить ящик?

— Они не дураки. Тут все ящики давно уже повыкидывали. А то бы никого не осталось.

— Убежали бы все? Юшка, а зачем? Мне, допустим, надо. Да и то я потом вернусь.

— А тебе что — домой не хочется?

— Хочется. Только жить нам с сестрой не на что. Денег нет. А работать меня еще не возьмут.

Юшка глянула на меня насмешливо.

— Денег добыть можно.

— Воровать, что ли? Я один раз попытался. Не понравилось. Стремно как-то. Поймают — в тюрьму попадешь.

— Ну, не хочешь воровать, можно по-другому, — согласилась Юшка.

— А как по-другому?

— Можно просить. Сестра у тебя маленькая, ей дадут. У магазинов можно просить, у ресторанов. Только надо все время точку менять, а то...

— Не будет Гуль попрошайничать, ты что! — разозлился я.

— Ну не будет и не будет, — махнула рукой Юшка. — Я разве спорю? Тут тоже нормально, если недолго. Пожить, подкормиться... Только за ворота не пускают, а погулять-то хочется.

Юшка деловито отряхнула руки от семечковой шелухи и огляделась.

— Можно попробовать просто через калитку.

— Там же охранник!

— Дядь Леша? Ну да. Короче, сделаем так...

План мы обсудили. Я ужасно нервничал, потому что мы рассчитывали на дяди Лешину психологию, а психология — дело тонкое.

Психологию в наш план добавил я.

— Принцип лягушачьего глаза, — сказал. — Лягушка видит только движущиеся предметы. Пока комар сидит смирно, он живой. А полетел — лягуха его ам! Если я буду долго маячить на краю дяди Лешино сознания, он перестанет меня замечать и расслабится.

Книжку я взял толстую. Специально. Тут тоже психология. Человек, который читает толстые книги, — это интеллигент, он не опасный. Никто не заподозрит мальчика с толстой скучной книжкой в том, что он замышляет вырваться на волю.

Я сел на бордюрный камень у самых ворот, раскрыл книжку посередине. Читал, конечно, вполглаза. Сердце колотилось так, что мне казалось, дядя Леша услышит.

Чтобы немного успокоиться, я решил читать вслух и начал тихонько бубнить под нос:

— «Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные...»

— Паш, а чего ты тут сидишь? Шел бы вон на скамейку, — добродушно сказал охранник.

Если не знаешь, что ответить, отвечать лучше правду. Но не всю.

— Отсюда, дядь Леш, улицу видно. Скучно все время за забором.

— А-а, ну сиди-сиди. Не слышать, скоро вас дальше-то отправят?

— Как места будут, — буркнул я.

Дядя Леша снова уткнулся в кроссворд, а я в книгу. Глаза скользили по странице, но я ничего толком не видел и не понимал, только бормотал:

— «Героиня греческая Бобелина, которой одна нога...»

И тут с крыльца слетела Юшка. Я весь напрягся: сейчас!

Что она будет делать — я не знал. Говорила: «Отвлеку его внимание, а ты беги!» Так что момент мне нужно выбирать самому.

Юшка мчалась через двор к воротам, подпрыгивая на ходу, а потом резко свернула влево, запнулась о бордюр позади будки охранника, со всего размаху полетела головой вперед, в кусты пионов, и в тот же миг громко заорала:

— А-а-а-а! Нога! Встать не могу! Дядя Леша! А-а-а-а!

Визг ее был такой настоящий, что я сам чуть не бросился ей на помощь. А дядя Леша выбежал из будки и кинулся поднимать Юшку. Та, кажется, еще и каталась по земле, чтоб задержать его

подольше, но этого я уже не видел: между нами была будка. Я ринулся к воротам, не помню как перемахнул через турникет, рванул направо, в панике соображая, что народу на улице мало и затеряться в толпе не удастся. Но тут на мое счастье подошел троллейбус. Я запрыгнул в заднюю дверь и, еле переводя дыхание, прислонился к стеклу.

В руках я по-прежнему крепко сжимал сизый коленкоровый томик.

Мы с героиней греческой Бобелиной и ее йогой были на свободе.

Надеюсь, что с Юшкиной ногой все в порядке.

ЦВС от нашего дома далеко. Надо ехать через весь город. Пару раз меня высаживали контролеры, но я просто дожидался следующего троллейбуса. И через час добрался до дома.

Дома.

Если бы Кира была в городе, думал я, можно было бы зайти к ней, повидаться.

Но сейчас главное — попасть в дом.

Я полез под крыльцо, туда, где мы всегда оставляли ключ, накрывая его старой эмалированной миской. Ключа на месте не было, а на двери я увидел какие-то приклеенные к ней белые бумажки с печатями: откроешь дверь — бумажка порвется.

Я видел такое в кино: это означает «дом опечатан». Смешно, разве такая белая бумажная ленточка мешает войти?

Но у меня все равно нет ключа. Куда он делся?

Скорее всего, ключ в милиции. Соседка сказала, где мы его оставляем — милиции-то как не скажешь, ну и они, конечно же, взяли под крыльцом ключ. Дом открыли, нашу одежду забрали, дверь заперли снова, бумажку свою наклеили, ключ унесли.

И теперь я должен проникать в свой дом, как вор. Окно, что ли, разбить?

Я сел на крыльцо, надо было собраться с мыслями.

Дом за спиной тихо прислушивался ко мне. Ему явно не хотелось, чтобы я бил окна.

Я встал и начал обходить дом. От угла террасы все заросло высокой травой, репейником, лебедой, крапивой. Надо же — всего несколько недель прошло, а двор уже стал таким диким. Сзади была небольшая дверца черного хода, ее никто никогда на моей памяти не открывал, к ней и подойти было трудно — мешала поленница. Но я все же разгреб дрова, добрался до двери и подергал. Заперто. Дальше я запнулся за валяющуюся на земле стремянку, еще раз обогнул дом и снова вышел к крыльцу.

У крыльца в траве лежал небольшой клочок бумаги с какой-то надписью.

Сердце у меня ухнуло. Пять минут назад никакой бумажки тут не было. Я бы заметил. Может, ее ветром принесло?

Это оказалась записка.

Простым карандашом, крупными печатными буквами, аккуратно, как по линейке, на бумажке было написано: ЧЕРДАКЪ.

Неужели Аристарх Модестович мне не померещился?

Стремянка плюс маленькая дверца под крышей, ведущая на чердак. Вот так я оказался в доме. А с чердака можно через люк попасть на кухню. Этот люк был всегда закрыт изнутри на крючок, но я надеялся, что подергаю хорошенько, и от тряски крючок выскочит из петли.

Но сперва я втащил наверх лестницу. Если меня еще не хватились, то ближе к ужину точно хватятся. И сообразят, что первым делом надо искать дома. А дом — нате вам! — закрыт со всех сторон. И о-пе-ча-тан! С лестницей я провозился довольно долго: она оказалась очень тяжелая. Если бы в доме кто-то был, то уже выскочил бы в испуге, так я топал и стучал.

Крышку люка, конечно, поднять не удалось. Я сильно дернул за железное кольцо раз, другой, третий... — люк не поддавался.

И в этот момент на крыльце раздались голоса.

За мной пришли!

Вообще-то было глупо пугаться. Я уже рядом с целью. Даже если меня сцапают, то я просто попрошу забрать Ляльку: мол, сестренка скучает без любимой игрушки.

Я тихо лег на пол и прижался ухом к щели в крышке люка.

Это пришли соседка Лариса и незнакомая тетка с противным голосом.

Из разговора я понял, что тетка по имени Люба — какая-то бабушкина родственница. Никогда не слышал о такой.

Тетка врала без передышки. Якобы она уже побывала у сироток. Это мы сиротки, ага! Что-то не видал я никакой тетки. О, она даже и конфеток нам отнесла! Мифических таких конфеток. И дом, оказывается, не наш, а почти что ее...

Жаль, я не все расслышал. Ладно. Разберемся и с теткой. Если эта тетка поможет нам вернуться домой, пусть врет что угодно.

Наконец все стихло. Я, на всякий случай — потихоньку, пробрался к чердачному окну и увидел, как эта незнакомая родственница быстро уходит вдоль по улице, вихляясь на каблуках.

Теперь можно было сразиться с люком еще раз.

Я взялся за кольцо, рванул — и люк легко, без усилия открылся.

Неужели и тут Аристарх помог?

Я спрыгнул вниз, в темную кухню.

Гуль

Гуль и белый верблюд уже много дней путешествуют вдоль берега реки. Потому что она согласилась помочь королеве.

— Но только давай ты пойдешь со мной? Ведь я не знаю дороги и вообще не знаю ничего про твою страну. Например, вот эти красные ягоды: можно их есть или они ядовитые?

— Красные ягоды? Эти? — рассеянно говорит верблюд. — Конечно, дорогая, их можно есть, и, разумеется, они очень ядовитые. У всех, кто их ест, вырастают на ногах ходули.

— Так это здорово! Мы сразу доберемся, куда нам надо!

— Не так уж здорово, — вздыхает верблюд. — С ходулей не дотянешься до еды, потому есть все время хочется. К тому же и противоядие у самой земли растет — вон те маленькие серые орешки. Если ходули надоели — ищи, кого попросить, чтобы забросил их тебе в рот снизу вверх, как в баскетбольную корзину. Большая часть орешков попадает по лбу, а когда, хоть один залетает куда надо — ты ба-бах! — со всего размаху брякаешься о землю.

— Ой, — говорит Гуль. — А вон те желтые сливы?

— Сливы я тебе есть не советую. Во-первых, это мои любимые сливы. Их не так много, начнешь угощать всякого — самому не хватит. А во-вторых, все, кто их ест, превращаются...

— ...в лягушек? — замирает от волнения Гуль.

— Нет, — с досадой морщится верблюд.

— В камень? — допытывается Гуль?

— Я думал, ты умнее, — качает головой верблюд. — Это мои любимые сливы!

Однажды вечером Гуль спрашивает:

— А почему никто не поверил, что королева вернется сама? Что ее надо просто подождать? Не верить в плохое. Если подождать, то...

— Люди не любят ждать. Знаешь, есть такая поговорка: «Хуже нет, чем ждать и догонять».

Гуль смеется:

— Но теперь-то мы как раз догоняем. И не так уж это плохо, даже интересно.

Верблюд молчит, меланхолично передвигая ноги по плотному белому песку, срывает на ходу желтые сливы и выплевывает косточки.

Под их ногами Земля крутится, и, обвевая лицо Гуль теплым ветерком, мимо проносятся леса, горы, высокие водонапорные башни, ветряные мельницы, и фонари.

Через сто лет Гуль спохватывается:

— Послушай, мы ушли очень далеко! Твоя страна скрылась за горизонтом. И замок, где всех нас ждет ваша королева, тоже остался далеко позади. Ты хоть помнишь, как нам возвращаться?

— По берегу реки, — говорит верблюд. Он останавливается, и, растопырив ноги, наклоняется к воде.

Гуль совсем не хочется пить. Она поворачивает назад и делает несколько шагов по своим старым следам.

Поднимает голову и видит, что верблюд по-прежнему пьет воду рядом с ней. Треугольный верблюжий хвост болтается из стороны в сторону прямо перед глазами Гуль.

Она отходит в сторонку и снова пытается пойти по своим следам.

Ничего не получается.

Тогда Гуль зовет верблюда, и они вместе пытаются вернуться назад, вдоль берега, вверх по течению.

Они толкают Землю изо всех сил, но она не поддается.

И тогда Гуль понимает, что ей теперь придется вечно идти вдоль берега этой реки, спать на песке, слушать верблюжьих скажи. И вернуться нельзя, и река никогда не-кончится.

Но в этот момент Гуль слышит, что кто-то зовет ее по имени. Гуль вот-вот узнает этот голос, он раздастся отовсюду: от облака, неподвижно застывшего в белесом небе, и от неба, окружающего ленивое облако, и от ивового листка, крутящегося, в речном водовороте, и от водоворота, затягивающего в себя ивовый лист.

Песок тает под ногами Гуль, небо расплывается прозрачным туманом, и...

Павел

Директора «Светлого дома», Елену Игоревну, я почти не знал. Никаких особых дел к детям у нее не было, так что обычно я только здоровался, встречая ее в коридоре. Но сегодня утром, когда я вернулся к воротам приюта, мне надо было с ней поговорить.

На работу Елену Игоревну обычно привозил муж, так что задача у меня оказалась непростая: слоняться недалеко от ворот, так, чтобы никто из идущих в ЦВС сотрудников меня не заметил, а директора я бы перехватил еще на улице.

Мое «доброе утро», кажется, ее совсем не удивило, она как будто сама ждала моего появления.

Я готовился к тому, что меня сразу начнут ругать за побег, но ничего такого не случилось. Елена Игоревна провела меня мимо усмехающегося охранника (сегодня дежурил не дядя Леша, а другой какой-то дядька, пожилой), усадила в своем кабинете за стол и первым делом позвонила в столовую, чтобы мне принесли поесть.

Это было очень кстати.

Второй ее звонок был, кажется, в милицию. Она сказала, что я нашелся — значит, меня искали.

И разговаривать мы стали, только когда каша кончилась.

Вот сидели, как интеллигентные люди, пили кофе и беседовали.

— Ты где был-то? Домой к вам ездили, там все замки на месте, в окнах темно, дверь опечатана.

— Дома был.

— В темноте сидел? А как пробрался — через окно? Окна целые все.

— Места надо знать, — усмехнулся я.

Она посмотрела на меня неодобрительно, но дальше выпрашивать не стала.

— И какие же планы у тебя теперь? Бежать больше не намерен?

Можно было бы домой сбежать — сразу бы сбежал. Больше всего на свете я хочу жить дома. Ходить с Гуль по утрам в школу, гулять с Кирой после уроков, рисовать...

Просыпаться утром и видеть Шурина портрет. Делать уроки за ее большим столом, представляя себе, что все мои дома: и Шура, и мама...

Лялька по-прежнему сидела в рюкзаке: мне почему-то не хотелось ее показывать раньше времени. И сперва я просто рассказал Елене Игоревне про то, что у моей сестры была любимая игрушка.

Нет, конечно, всю правду я говорить не стал. Как Гуль с Лялькой разговаривают, например, директору знать необязательно. Но что такое «любимая игрушка» — это каждая женщина знает.

— Что ж, давай попробуем, — сказала Елена Игоревна. — И, наверное, лучше тебе самому ей куклу отдать. Это кукла? Покажешь?

Я вытащил Ляльку из рюкзака и посадил на стол. Она немного жмурилась от яркого света и выглядела очень сосредоточенной и невеселой.

Могу ее понять. Дело ей предстоит не из легких. И если не получится, то какое еще лекарство придумать для Гуль, я не знаю.

— Забавная, — улыбнулась Елена Игоревна.

— А Гуль волновалась, что меня нет?

Елена Игоревна покачала головой:

— Вынуждена тебя огорчить: кажется, она ничего не заметила. По крайней мере, все было как всегда. Больше ничего не хочешь спросить?

— А чего еще?

— Ну, например, как у Юли с ногой.

Ой. Про Юшку-то я совсем не думал.

— Нормально у нее с ногой, — не стала мучить меня Елена Игоревна, верно прочитав мой несчастный виноватый взгляд. — Сильный ушиб, ссадина, но переломов, слава богу, нет.

— А она сказала, что мы... ну, что...

— Про ваш сговор? Да что ты! Пока ты убегал, Юля верещала на весь дом минут пятнадцать. Отвлекала нас. Это уж потом, сложив два и два, я сообразила, как было дело. Ну что, у тебя все? Пойдешь к сестре?

Нет. У меня было не все. Было еще одно важное дело.

Я достал из рюкзака конверт и протянул его Елене Игоревне.

— Вот, посмотрите.

— Алексашин Василий Сергеевич... Кто это?

— Мой отец.

— Я могла запомнить, но, по-моему, в твоём свидетельстве о рождении имя отца записано со слов матери, и указано там — Соловьев, ну и так далее.

— Да нет же, не Соловьев. Алексашин.
— Бумажка-то откуда?.. Ах да. Дома нашел. Ты его знаешь? Видел когда-нибудь?
— Я только вчера это дома обнаружил. Случайно. Мама написала в записке, что это мой папа и что ему можно позвонить. Если что. По-моему, у нас как раз и есть «если что».
Елена Игоревна покрутила бумажку в руках, с сомнением хмыкнула:
— А ты мне вот что скажи, Паша Алексашин. Почему ты мне дал такой некондиционный обрывок? Пол-листа оторвано... Тут было что-то еще?
Я посмотрел директору в глаза ясным и честным взглядом и сказал твердо:
— Нет, Елена Игоревна, ничего тут больше не было.
— Хорошо, Паша, — сказала Елена Игоревна, засовывая бумажку в прозрачную синюю папку. — Я узнаю. И если будут какие-то новости... Только учти, что...
— Я понимаю. Большая вероятность, что Алексашин никто и первый раз про нас с мамой слышит. Но все-таки вы позвоните, ладно?

А потом я пошел к Гуль.
Гуль сидела у себя в комнате — так же, как все эти последние дни. С безучастным спокойным лицом. И смотрела куда-то перед собой, но одновременно далеко-далеко.
Юшка валялась на своей койке и крутила ноги Гулькиной Барби. Щиколотка у Юшки была перевязана бинтом, а в остальном она была вполне бодрой и веселой.
Едва я переступил порог, Юшка вскочила и вытолкала меня обратно в коридор.
— Ну что? Все путем? Получилось? Принес?
— Юшка, как твоя нога?
— Да ну, фигня, — отмахнулась она. — Думали — растяжение, оказалось — ушиб. Заживет как на собаке.
— Ты потрясающая актриса! — запоздало похвалил я Юшку. — Знаешь, когда ты заорала, я чуть сам не кинулся тебя спасать.
— Говорю — фигня! Главное — что? Что все получилось! Они, прикинь, тебя только к ужину хватились! Директор бегала-бегала, ментам звонили-звонили. К тебе домой приходили?
— Ага. Но я свет не включал, а двери были заперты снаружи.
— Супер, — потрясение вздохнула Юшка. — А как это?
— Тайный ход, — подмигнул я.
— Подземный? — вытаращила глаза Юшка.
— Воздушный!
Юшка шмыгнула носом и сказала деловито:
— Вот что. С воли полагается чего-нибудь приносить.
Я растерялся:
— У меня денег не было, и еды дома тоже. Чего я тебе принесу?
— Чего-чего! — огрызнулась Юшка. — А хоть чего!
Я сунул руку в карман и достал оттуда розовую туфельку Барби.
— Слушай, а Гуль и когда нормальная была, с этой Барби совсем не играла, — оживилась Юшка, цепкой лапкой схватив туфельку у меня с ладони, — может, она мне ее подарит? И как раз две туфли? Красиво!
— Думаю, подарит. Если...

И тут мы оба вспомнили, ради чего все затевалось.
— Ну что? Попробуешь? — кивнула на дверь Юшка. — А можно я посмотрю? Я не буду мешать, я у двери сяду!
Ужасно не хотелось мне свидетелей в такой момент, но как отказать...
— Только молчи, — сказал я.
Вошел в комнату, достал из рюкзака Ляльку и сунул Гуль в руки.

Лялька

Для человека, который меня не слышит, Паша все же удивительно разумен.
Это он залез в дом через чердак. А не воры.
И ночью мы с ним сидели в темном доме вдвоем.
Было хорошо.
Я и не думала, что так скучаю по своим людям.
Паша сел рядом со мной. Взял меня в руки. И разговаривал со мной. Обо всем.
Он рассказал мне, что все очень плохо. Что мама больше никогда не придет. И что даже проститься с ней детям не удалось.

— Иногда мне кажется, мама просто уехала. Далеко-далеко. И вернется через двадцать лет. Или через тридцать.

— Мне тоже так кажется про Шуру. В сущности, это так и есть. Я же знаю, что Шура сидит в зеленом саду под яблоней. Качается на качелях. Ест лимонное желе. И трава щекочет ей босые ноги. Только она не приедет. Да и зачем.

— И я всё думаю, Лялька, думаю. Где теперь мама? Успела ли она подумать про это? Ну — про то, где хочет оказаться. Хорошо тем, кто верит во всякий там рай. Только если честно, маме рай не светит. Ну, такой, настоящий рай, куда попадают только самые хорошие. А грешники в ад — знаешь про это, Лялька? Если так и есть, то моей маме надеяться не на что.

— Если бы ты меня слышал... Люди попадают в тот мир, в который верят. Я и Шуре это говорила всегда.

— Я, знаешь, Лялька, что думаю? Пусть она делает там только то, чего ей хочется! Я не верю, что эти черные и фиолетовые картины — то, чего она хотела. Не хотела она этого. Она просто устала от всего. Вот сидит она там, перед ней — загрунтованный холст... И — все, что она пожелает. Все такое яркое, светлое. И можно рисовать с натуры. Понимаешь, Лялька?

— Понимаю.

— Я, Лялька, хочу скорее вырасти. Мне еще пять лет ждать. Через пять лет я смогу жить в своем доме и ни у кого не спрашивать разрешения.

А еще Паша рассказал про Гуль.

Тоже плохо.

Но он отнесет меня к ней.

И я шепну ей.

Скажу ей.

Крикну.

Гуль

...И, вы представляете, мне две недели снился сон. То есть я сейчас как будто проснулась — а оказывается, уже две недели прошло.

Мне снилась такая интересная сказка. И немножко страшная.

Я не все помню, так, обрывки. Про какого-то верблюда, про королеву, про речку...

А потом я услышала, как меня зовет Лялька.

И подумала: «Ох, я же Ляльку целый месяц не видела, как она там одна дома?»

И проснулась.

И вижу: все радуются.

Паша стоит радуется.

Юшка тоже радуется.

Потом какие-то взрослые пришли. Тоже радовались.

Все со мной разговаривают. Вот, говорят, какая ты хорошая девочка. И какой у тебя, оказывается, голос громкий. Пришла Елена Игоревна. Это директор.

Я никого тут не знала раньше по именам, все были одинаковые. Теперь стала смотреть — они все разные!

Елена Игоревна пожилая, и похожа она на портрет какого-то писателя. Не смейтесь, я знаю, что все писатели с бородой. А директор похожа на писателя без бороды!

Она принесла с собой торт. «Птичье молоко» называется. И мы уселись пить чай. Не на завтрак, не на обед и не на ужин. Просто так сели чай пить, не по распорядку дня.

Голова у меня все время кружится немного.

— Пей сладкий чай. Ешь торт. Все будет хорошо, — строго говорит мне Лялька.

Лялька теперь со мной. Как же это я без нее так долго могла жить? Вот удивительно.

Лялька теперь все время мне говорит: «Гуль!»

А я ей отвечаю:

— Лялька!

Это у нас проверка связи.

Ляльку все у меня просят — посмотреть. Я сперва не хотела ее в чужие руки давать, но Лялька сказала: «Не выдумывай. Дай, пусть люди посмотрят. Всем интересно. А я потерплю».

И она терпела.

И я терпела.

Только когда наша медсестра, толстая молодая Ирина Михайловна, захотела с Ляльки шляпу снять и даже полезла своими острыми красными когтями шов, которым пришита Лялькина шляпа, подпарывать, — я рассердилась и Ляльку у нее забрала.

— Хватит, — говорю. — Лялька устала.

День вообще получился какой-то суматошный.

Попили мы чай, пообедали, и тут все стали приходить. Сперва — Юшкина мама.

Юшку позвали в холл, и я с ней пошла. Делать-то все равно нечего.

А там сидит женщина. Волосы белые, длинные. Ногти перламутровые. На ногах туфли с каблуками. Красивая. Только лицо красное.

Юшка ей говорит:

— А, мам, привет!

А ее мама плакать начала:

— Юленька, доченька, я по тебе соскучилась.

И пакет Юшке сует — с яблоками и грушами.

Мне стало неудобно, и я поскорее ушла.

Юшка вернулась быстро. Мрачная.

И говорит:

— Мамка переживает. Говорит: самый-пресамый последний шанс ей дают, и то неизвестно теперь. Ее хотят прав лишить. Ну, чтоб она мне как бы не мамка была, поняла?

Ничего я не «поняла». Как это: чтобы мама — не мамка?

— Меня когда с поезда сняли, я адрес свой не сразу сказала. А потом сказала, и они пошли к нам домой, а мамки и папки нету. Они уехали к дядь Вите на дачу. У дядь Вити день рождения было, вот мамка и папка с ним и праздновали. И рыбу ловили. Гуляли, в общем, поняла? Две недели гуляли. Или три. Теперь ей говорят: как же вы своего ребенка бросили и даже не интересовались, где он и с кем? А мамка же знает: я не пропаду! Ну и вот за это их с папкой хотят прав на меня лишить. Козлы! Три недели без мамки нельзя, по-ихнему, а всю жизнь можно, что ли?

— Так ты сама из дома убежала?

— Ну, сама. И что? Хочу — убегу, хочу — назад приду. Всё же дом, мамка-папка, всё как у людей... А в детдоме никакой тебе свободы. И потом, я-то нигде не пропаду, а вот мамка без меня скучать будет.

Тут вдруг Юшка спохватилась:

— Это ничего, что я про свою мамку тебе жалуясь? У тебя ж теперь мамки вообще нет?

А я ей говорю:

— Пошли с Барби играть. Как будто она в кино снимается.

Мы сидели с Юшкой, играли в куклы. Вернее, Юшка играла: кормила Барби, причесывала, летала с ней на самолете, — а я в это время делала ей из картона кровать. Барби оказалась такая длинная, что кровать под ней никак не хотела стоять — прогибалась, как гамак. И тогда я придумала приклеить посередине еще пару ножек. Мало ли что шесть ножек у кровати не бывает, зато стоять будет прочно.

Только мы уложили Барби спать — заходит какая-то незнакомая тетка и говорит так сладко, как злая колдунья:

— Деточка, малышечка, в куколки играет, здравствуй, Гулечка, я твоя тетечка, меня тетя Люба зовут!

Следом Паша в комнату просочился, какой-то хмурый.

Тетечка Любочка нас на воздух вытащила — давайте, говорит, посидим в садике на скамеечке, поговорим. Все у нее такое: деточка, садик, скамеечка, куколка, конфеточка...

Это она нам коробку конфет принесла.

Конфеты на жаре все растеклись и слиплись.

Паша ей вежливо на вопросы отвечает. Про то, в какой мы школе учимся, про оценки, про книжки, которые любим читать.

— А бабушку Сашу-то вы вспоминаете? Хорошая у вас была бабушка Саша?

Я глазами захлопала: кто это — бабушка Саша? Пока соображала, тетечка Любочка как запричитает:

— Ой, деточки мои бедненькие, вот вы теперь и одни совсем на свете остались, сироточки мои!..

Паша вдруг меня просит:

— Гуль, сбегай, пожалуйста, в столовую, разведай, что сегодня на ужин. Быстро!

Когда Паша таким голосом говорит, я не спорю. А когда я вернулась, тетечка Любочка уже собиралась уходить. На прощанье она меня и Пашу поцеловала. У Паши на щеке отпечатался малиновый след от помады. У меня, наверное, тоже.

Как только мы остались одни, я это малиновое пятно у Паши стерла. Подорожник сорвала и стерла.

А Паша спросил:

— Гуль, ты про маму-то поняла?

Я тоже спросила:

— А что про маму?

Смотрю, Паша напрягся весь, занервничал. И говорить начал как-то странно, чуть не каждое слово отдельно:

— Я тебе. Две недели. Назад. Сказал. Только ты уже была тормозная. Вы же с Юшкой подслушали, что мне милиционер про маму сказал, да? Но я потом еще раз сказал. На всякий случай. Вдруг ты не поняла...

Паша даже со скамейки вскочил:

— Так ты поняла? Может, ты не помнишь ничего? Не знаешь?

...Да знаю я. Знаю. Помню. Только мне кажется, что это все было со мной давно-давно. Мне кажется, я уже сто лет живу на свете и сто лет знаю, что мамы у нас больше нет.

А эта тетечка Любочка, оказывается, приходила в наш дом и теперь, может быть, возьмет нас отсюда. И тогда мы будем жить дома. Ну а потерпеть тетечку Любочку — ничего, можно. Паша считает. Она, кажется, не сильно вредная тетка, хотя, конечно, совсем незнакомая и противная немного.

Тут мне Лялька шепчет:

— Гуль, можешь Паше мои слова передать? Скажи ему, чтоб на эту тетку не рассчитывал.

— Не рассчитывай, Паш, на эту тетку, — сказала я.

— Почему? — удивился Паша.

— Лялька говорит, она слышала, когда эта тетка к нам в дом приходила. Они с соседкой Ларисмихалной через черный ход зашли, и соседка сразу цветы пошла поливать. А тетка все в доме щупать. Пощупала. И не понравился ей наш дом. Лялька сама слышала, как тетка себе говорила: я, говорит, думала, дом большой, хороший, в нем жить будет удобно... А как углядела, что горячей воды нет, что печку надо топить, что полы скрипят, — так и решила: не надо мне ни этих сироточек, ни такого дома.

— Вот, значит, как, — огорченно протянул Паша. — Жалко. Значит, она нас тут просто так навестила...

— Паш, ты с ума сбрендил? Зачем нам эта длинноногая дура? Деточки, сироточки, конфеточки! Она ж нас и не знает, и не любит!

— Нас, Гуль, теперь никто не знает и никто не любит. Нам теперь с тобой прямая дорога в детский дом. Не знаю, как ты, а я хочу домой вернуться. Любой ценой. И эта тетка, если бы она поселилась с нами... — да пусть хоть ради дома, какая разница! Это был шанс...

Я тихонько погладила его по руке:

— Паш, ну ты же скоро вырастешь, и тогда...

— Пять лет еще, Гуль, ты не понимаешь! За пять лет может случиться что угодно. И ведь впереди зима. Если зимой дом не топить, ему плохо будет, он у нас и так старый уже. Или его поджечь могут. Или бомжи поселятся. Дом-то без хозяев.

— И что мы будем делать?

— Не знаю. У меня есть еще один вариант. Может быть, сработает.

Павел

Я однажды спросил маму, кто мой отец, и она сказала резко, что все расскажет в свое время. Ну вот, мама, время пришло. Я знаю, кто мой отец.

И про отца Гуль я тоже знаю теперь.

Все знаю.

Опять Аристарх помог.

Когда я пробрался в дом, то первым делом нашел Ляльку и сунул ее в рюкзак.

В шкафу у Гуль было много игрушек, но я взял только розовую туфельку, которая валялась посреди комнаты. Я точно помнил: когда Барби принесли с нашими вещами в приют, она была в одной туфле. А я терпеть не могу, когда в чем-то некомплект, меня это раздражает.

Можно было уходить — главное я сделал. Но уходить не хотелось.

Я подумал: когда я в следующий раз попаду домой? И лег в свою постель. Решил: переночую, а утром вернусь в ЦВС. Я лежал и смотрел на Шурин портрет. Становилось темно, но я же помнил каждую вещь в этой комнате, поэтому мне хватало света фонаря с улицы.

Лежал-лежал — и уснул.

Проснулся от шума, который доносился с крыльца.

«Это за мной. Милиция», — понял я. И страшно испугался. Потом сообразил: дом заперт снаружи, света я не зажигаю, они должны подумать, что меня внутри нет.

Они обошли с фонариком вокруг дома, я слышал, как они проверяли, не залез ли я через окно, дергали двери, проверяли замки и говорили, что никого тут быть не может.

Но пока они ходили и разговаривали, я на всякий случай забился под кровать: вдруг они увидят меня через окно? Прямо как маленький.

Ушли.

Ночь была душная, но я порадовался, что не открыл окно. Проветрил бы комнату, тут меня бы и сцапали.

И хотя стояла тропическая жара, я понял, что у меня стучат зубы, как будто я замерз. Стало даже смешно, я про такое только в книжках читал, а тут реально: чуть расслабишься — ит-р-р-р-р!

Прислушиваясь к звукам за окном, я прокрался на кухню — попить водички.

Посредине стола лежал небольшой конверт, на котором маминым почерком было написано: «Павлу».

Если я надеялся, что поход на кухню избавит меня от озноба, то просчитался. Стало еще страшнее, и заколотило меня еще сильнее.

Когда я шел через кухню первый раз, этого конверта там не было, я бы заметил.

И тогда я спросил тихонько:

— Аристарх Модестович! Это опять вы?

Но в ответ только легкий шорох раздался из угла, словно там пробежала мышь.

Я постоял еще немного: может, Домовой все-таки ответит?

А потом взял конверт и пошел к себе: включать верхний свет я боялся, а там у меня был фонарик.

В своей комнате я занавесил поплотнее окно и приступил к изучению конверта.

В нем лежал сложенный вдвое листок бумаги. На листке твердым маминым почерком с наклоном в левую сторону было написано:

Павел!

Если что, вот информация о твоём отце:

Алексашин Василий Сергеевич, 1965 г. р.

Красноярск. Тел. +7 391 3451809

И — другой ручкой на второй половине листа:

Отец Гуль: icq 61651810, скайп: kemal-keman

И всё. Больше мама мне ничего не написала. Я всматривался в листок бумаги с упрямо падающими назад мамиными буквами, и в голове у меня было пусто. Ну вот, хотел я узнать про своего отца? Пожалуйста! Давай, Паша, звони и говори:

«Здравствуйте, я ваш сын Павел». Мама ни словом не намекнула, знает ли Василий Сергеевич Алексашин про Павла Васильевича Соловьева. Мне же не пять лет, я хорошо представляю, что так бывает: ребенок рождается, а отец про это знать не знает. Тем более он так далеко — Красноярск. А еще Алексашин может знать про меня, но не испытывать ни малейшего желания иметь со мной дело. Бросит трубку, и буду я как дурак...

Ладно. Все равно звонить в Красноярск сейчас не время: даже у нас почти ночь, а там-то еще позднее. Может быть, этого человека удастся найти как-нибудь официально? Должны же в опеке проверить информацию, если нашелся родственник?

Со мной ясно, но есть еще вторая часть записки. Даже без нормального имени — только с ником. Кемаль-кеман. Мама в своем репертуаре.

Куда, кому я понесу эти циферки, этот скайповый ник-нейм?

Никуда и никому.

Я сам. Прямо сейчас. Комп стоит у мамы на столе.

Кемаль-кеман.

Лезть сразу в скайп я не стал. Сперва надо было провести разведку. Итак, Кемаль. Набрал в поиске. Так звали турецкого президента, и было это давным-давно. Он уже умер.

Кеман. Это восточный музыкальный инструмент. Что-то типа скрипки.

Кемаль-скрипка.

Ну-ка поищем его теперь по номеру в аське.

Так... Кемаль-скрипка заполнил тут на страничке с информацией довольно много строчек. Город: Istanbul.

Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять: это Стамбул. Столица Турции.

Турции.

Где мы — а где Турция! Это еще хуже, чем Красноярск.

Пол — мужской, ну это попятно.

Возраст — 28 лет.

Я смотрел на эту цифру и лихорадочно считал. Маме сорок шесть лет. Гуль восемь. Плюс еще почти год. Двадцать восемь минус девять — это будет... Это будет девятнадцать лет. А сорок шесть минус девять — тридцать семь. Тридцать семь и девятнадцать...

Нет. Я нашел не того человека. Этот Кемаль-скрипка слишком молодой.

Но вот он — номер. Вот он — написанный маминой рукой. Все совпадает.

Аська Кемалья-скрипки смотрела на меня красным цветком. То есть поговорить нельзя.

И я решил проверить скайп.

Зеленый значок. Этот человек сидит сейчас далеко отсюда, в Стамбуле, в какой-то восточной сказке, где, тем не менее, есть компы и Интернет. Что я ему скажу? И, кстати, на каком языке?

— По-турецки-цацки-пецки, — пробормотал я, собираясь с духом.

А потом написал в чате. По-английски.

«Добрый вечер, Кемаль! Вы знаете Марину Соловьеву?»

И ответ пришел сразу же.

Ну конечно, английский — язык международного общения.

«Марину знаю. Вы кто?»

Даже не знаю, обрадовался я или огорчился. До этого самого мига я пытался верить, что это не тот человек.

«Я ее сын. Меня зовут Павел»

«Да, Марина рассказывала про тебя, Павел. А где Марина?»

«Когда вы разговаривали с ней последний раз?»

«Павел, где Марина?»

«Кемаль, когда вы виделись с ней последний раз?»

«Ответь, пожалуйста: что случилось? Где Марина?»

Я глубоко вдохнул и написал:

«Мама умерла».

Написанное на чужом языке, это выглядело не так страшно, как по-русски.

Кемаль замолчал.

А потом замигал значок видеовызова. Я нажал на ответ.

Мы сидели и смотрели друг на друга. Без слов. Я не знал, что сказать этому молодому кудрявому дядьке.

Ну что я мог ему сказать, если он смотрел на меня глазами моей младшей сестры?

Потом он спросил:

— Что произошло?

Наш разговор длился почти час. У Кемалья был странный акцент, но в общем мы понимали друг друга.

Они познакомились с мамой девять лет назад, когда она первый и последний раз ездила в Турцию. Я не помню той маминой поездки, я ведь был совсем мелкий тогда. Кемаль учился в консерватории, он на самом деле скрипач — отсюда и его ник. А в то лето он подрабатывал: играл в маленьком оркестрике в ресторане, куда мама пришла ужинать.

— Я хотел, чтобы она стала моей женой. Но она только смеялась, — сказал Кемаль.

— Она была тебя старше в два раза! — разозлился я.

— Ты еще маленький, ты не понимаешь, — ответил мне Кемаль.

Куда уж мне понять...

Мама уехала и после этого разговаривала с ним только по Интернету. Сначала писала мейлы, потом через аську, потом появился скайп. Но общались они нечасто. Последний раз он видел ее — вот так же, на экране компьютера, — год назад. Она не отвечала на его вызовы, но он видел каждый день, что она выходит в сеть, и надеялся, что у нее все хорошо.

Из разговора я понял две вещи.

Кемаль не знает даже, в каком городе мы живем.

И он даже не подозревает, что на свете есть Гуль.

Если бы мне рассказали про такое, я бы только посмеялся: прямо какой-то сериал для пенсионерок.

Так что я, пока слушал его, лихорадочно думал: сказать ли ему правду? Если мама этого не хотела, то какое я имею право? Но ведь зачем-то же мама оставила мне его координаты. Значит, хотела, чтобы я ему сказал? Или мама хотела, чтобы я решил сам?

Чтобы выиграть время, я спросил:

— Кемаль, ты женат?

Да. Сейчас он женат. Он женился полтора года назад.

— А дети у тебя есть?

— Дочке три месяца. Ее зовут Акгуль. Это означает «белая роза».

И тогда я сказал, что это красивое имя.

А Кемаль-скрипач, папа моей сестренки, улыбнулся.

Он был очень похож на нее. Он улыбался так же, как Гуль. Он взмахивал рукой с тонкими музыкальными пальцами — точь-в-точь как Гуль. Он, который не видел ее ни разу в жизни, даже голову к плечу наклонял так же.

И я решил, что никогда не скажу ему правду.

Вернуться в наш дом он нам не поможет, а лишние тревоги никому не нужны. Пусть Кемаль-скрипач живет спокойно. Дочка у него уже есть.

А сестра будет только моя.

Гуль

За нашим корпусом — игровая площадка. Там песочница, качели, горка и скамейки. А еще по краю площадки растут яблони. Когда мы только приехали сюда, яблоки были мелкие и кислые. А теперь их уже почти можно есть.

Мы с Юшкой сидели вместе на качелях и грызли падалицу. Конечно, эти яблоки не такие сладкие, как в магазине, но все равно вкусно. Только если три яблока подряд съесть, во рту начинается неприятное чувство, называется «оскомина». Потом Юшка набрала еще яблок и начала ими пулять в стену сарая. Вообще-то она почти всегда попадает в цель, но с качелей целиться труднее.

Теперь в ЦВС детей стало больше, столовая заполнена почти полностью. И другие спальни. Но мы с Юшкой так и живем вдвоем.

С Юшкой чем хорошо? Она не требует, чтобы я с ней все время разговаривала, не обижается, когда у меня плохое настроение.

А у меня бывает плохое настроение. Потому что скоро в школу. И я недавно спросила директора Елену Игоревну, как же мы будем ходить в свою школу, если «Светлый дом» на другом конце города. И тут я узнала ужасную вещь. Никто не станет нас возить в нашу школу. Это на самом деле очень далеко. Поэтому мы будем ходить в ту школу, которую видно из окон ЦВС.

Теперь меня ждет долгая-долгая жизнь, в которой я никогда не увижу Софью Тимофеевну. Еще я никогда не увижу Мишу. С Мишей посадят кого-нибудь другого. Пересадят Настю с третьей парты на нашу вторую. Настька только рада будет.

Я точно знаю. Потому что однажды зимой выхожу я из школы и вижу просто кошмар какой-то. Настька села в ледянки, и все мальчишки по очереди ее катают. И Мишка тоже ее катает и ржет как дурацкий конь. Я подошла и говорю:

— Миш, там твоя мама пришла!

Он сразу веревку от ледянок бросил и побежал к воротам. А там никакой его мамы нет. Он стоит, головой крутит — нервничает. Мне так нехорошо стало, я сзади подошла и говорю:

— Ты извини, мне, наверное, показалось.

Но тут Мишка как закричит:

— Вон она идет! — и кинулся своей маме навстречу.

Так он и не понял моего коварства.

То, что я сделала, называется именно таким словом, мне потом Паша сказал. Я ему рассказала про этот случай, а он засмеялся:

— Какое коварство!

Я не поняла, и он тогда объяснил мне, что это значит. Только, кажется, коварным быть плохо, почему же Паша смеялся-то?

Ну и вот... Теперь эта Настька будет сидеть с Мишей. Они будут болтать на уроках, пинаться ногами под партой, и еще он будет с ней вместе выходить из школы.

Я сидела на качелях, смотрела, как Юшка швыряет яблоки в сарай, и думала, думала.

О том, что уже август и скоро в эту незнакомую школу.

О том, что из родных людей у меня остались только Паша и Лялька.

О том, что все-таки у меня тут появились новые друзья, например, Юшка.

О том, что однажды Паша придумает, как нам вернуться домой.

О том, что...

Я не успела додумать очередную мысль. Потому что из-за угла появились Елена Игоревна и тетенька, лицо которой было мне немного знакомо. Пока я вспоминала, кто это. Юшка вдруг соскочила с качелей и побежала к ним.

И я вспомнила туг же. Это же Юшкина «мамка»!

Вот какое у Юшки счастье. Ее мама домой забирает. Разрешили. Юшка убежала наверх за вещами и даже на меня не оглянулась. Но я не такая гордая, я за ней пошла.

Вещей у Юшки было немного: она рисунки свои в папку запихала, белочку, которую мы лепили тут на кружке по лепке, в пакет кинула, прямо поверх скомканной одежды.

И говорит мне:

— Ну я пойду.

А я ей говорю:

— Юшка, а хочешь, я тебе Барби подарю насовсем?

Юшка ужасно обрадовалась. И положила Барби в пакет с вещами. Ее-то положила аккуратно: заглядываешь сверху — а она там как будто легла и спит на мягком. Потом Юшка спрашивает:

— А кровать, которую ты для Барби склеила, я тоже заберу, ладно? Она тебе тут не пригодится ведь?

Конечно, я и кровать отдала. Зачем мне кукольная кровать?

Потом мы с Юшкой на улицу вышли. Там все сбежались — кто во дворе толпится, кто в окна смотрит, всем интересно, как человек домой уходит.

Елена Игоревна сказала Юшке и ее маме:

— «До свидания» я говорить не буду. Потому что желаю, чтоб нам с вами никогда здесь больше не увидеться.

И Юшкина мамка головой кивнула:

— Никогда, никогда!

Юшка мне шепчет:

— Я теперь снова на воле, так что буду к тебе в гости приходить.

— А если нас в детдом переведут?

— И туда можно, это близко! Поняла?

— Поняла, — говорю.

Так я и не научила Юшку правильно ударение ставить. Ну и ладно.

Паша Юшке на прощанье руку пожал.

И ушла от нас Юшка. Навсегда ушла.

Хотела я обратно на качели вернуться, а там уже кто-то качается. Тогда я набрала мелких яблок и стала в сарай пулять. Если встать близко и кидать со всей силы, то яблоки расшмякиваются об стенку сарая. В лепешку.

Павел

Вес уверяют, что мы с ним похожи. Говорят: ну точно, обрати внимание, и нос такой же, и разрез глаз у тебя, как у твоего папы. Я честно смотрюсь в зеркало и никакого сходства не замечаю. Нос как нос. Мой собственный нос, и ничего в нем такого выдающегося. У каждого второго человека на улице такой. На себе трудно попятить, что у тебя какой-то особенный — фамильный — нос. Ты же к своему носу за всю жизнь привык.

Сравнивай не сравнивай носы, а все равно чужой, незнакомый человек.

Конечно, никакой он мне не папа. Я даже не попробовал его так называть, чтоб не напрягать лишний раз. Назовешь папой — надо же будет дальше отношения строить. А я еще не решил, надо ли мне это. Ну и неизвестно, надо ли это ему.

Хотя — он ведь приехал... А это на самолете лететь из Красноярска с пересадками несколько часов.

По документам он мне никакой не отец, так что заставить его для меня что-то сделать никто не может. Но он все-таки взял и приехал — просто по совести, так он мне сказал. Он вообще про совесть очень много говорил.

Было 28 августа. Накануне мне сообщили: «Завтра приезжает Алексашин». Нет, конечно, не так, а так: «Приезжает твой отец». Но я лучше буду называть его по фамилии.

Вечером я сидел и писал на бумажке: «Павел Алексашин». Меня ведь так могли бы звать, и я пробовал, как это выглядит. Выглядело красиво, но непривычно. Бумажку я, конечно, мелко-мелко порвал и выкинул потом. А перед сном думал: вот, допустим, он одинокий. Или у него какие-то проблемы. Или вообще: вдруг он родом из нашего города, раньше здесь жил, а теперь мечтает вернуться? Тогда мы бы могли поселиться в нашем доме. Отец помог бы сделать ремонт, крыльцо бы мы с ним покрасили... Ну даже и женился бы он потом, а что?

И я думал: что я ему скажу, чтоб уговорить? И боялся — вдруг он мне не понравится? Вдруг я ему не понравлюсь? Что Гуль ему понравится — никаких сомнений: она красивая, ее все любят.

Но вот приехал он, все как-то замельтешились, засуетились, забегали, а я растерялся — только поздоровался и больше ничего не сказал.

И нас посадили в кабинете у директора, а сама Елена Игоревна ушла, чтобы мы могли поговорить наедине.

Алексашин оказался высокий, крупный, хоть сейчас викинга в кино играть. Борода, джинсы, футболка, плечи такие накачанные.

Он на меня смотрит-смотрит. А потом и говорит:

— Ты очень на маму похож.

Я промолчал. Тогда он спрашивает:

— Значит, вот такая беда... получается, ты теперь совсем один?

Я не понял, что мне так не понравилось в этом вопросе, плечами пожал — мол, как видите. И промолчал опять.

— А ты не из разговорчивых, — хмыкнул Алексашин. — Или, может, стесняешься?

— Ничего я не стесняюсь. Просто пока еще не придумал, что вам сказать...

— Ладно, тогда я сам буду говорить. А ты пока осваивайся, о'кей?

— О'кей, — согласился я.

И начал мне Алексашин рассказывать. Я, дескать, по документам тебе никто, ты это учти. Но по совести приехал, потому что знаю, что ты мне сын. Потому что совесть у меня не позволяет, чтоб мой кровный сын в сиротском доме жил. А вообще-то тебе уже год был, когда твоя мать мне сказала, что ты родился. А раньше я даже и не знал, что ты есть. И она все твердила, что ей ничего не надо — гордая, вишь ты, была. И чтобы мы с тобой общались — не хотела.

Это он не врал. Если мама чего не хотела, то уговорить ее было — дохлый номер. Ну и сам он, небось, не настаивал! Тут он как-то замялся.

— Опять же по совести, конечно, надо было вам помогать, но она не просила, я и... Собирался сперва, а потом, как женился — тут уж... Ты взрослый парень, понимаешь меня, да?

Я только плечами пожал. Их с матерью отношения — это их дело. Наверное, я мог бы обидеться, что так получилось, но мне было все равно.

Ну и вот. Сидел я, смотрел на него и понимал, что прошлое мне — абсолютно по барабану. А важно мне одно-единственное. Как бы поскорее вернуть, что у нас есть дом, что там жить здорово, если подремонтировать чуток, кое-где подкрасить... Что у нас сад, яблони старые, трава, воздух...

Алексашин же тем временем дальше общался:

— Я сейчас тебе все про себя расскажу: кто я, что я. Я, Паша, архитектор. Знаешь, кто такой архитектор? Архитекторы, Паша, — они дома строят. Ну не так чтобы руками, руками — это строители. А архитекторы дома придумывают.

Ему, наверное, казалось, что я дебил. Или что мне три года. Да знаю я, кто такие архитекторы! Даже отвечать на такое неудобно.

Алексашин тем временем достал пачку фотографий.

— Смотри, вот это Светлана. Тетя Света тебе, значит. Моя жена. А это — твои братья. Постарше — Никита, а маленький — Максим. Они у меня хорошие ребята, вы точно подружитесь. А это мы на море. Они у меня плавают оба, как дельфины, вот тут Максимка с маской, а вот тут в аквапарке...

Я что-то промычал в ответ. Нормальные пацанята его сыновья. Младше меня. Стоят на берегу моря, загорелые, белобрысые. А жена... Ну, жена как жена. Красивая. Молодая. Моложе мамы.

Пока я фотографии рассматривал, Алексашин все что-то говорил, говорил, я не вслушивался толком.

— ...но я не отказываюсь. Я знаю — ты мой сын, да и не знал бы — вижу, что похож. Точно, моя кровь. Мы с женой сели, подумали и решили... Светка у меня понимающая женщина... Другая бы наверняка устроила цыганочку с выходом за такой сюрприз, а она нет, она все поняла... Так что будь уверен, тетя Света хорошая. Как же, говорит, твой сын, нашим пацанам родная кровь — и будет по детдомам скитаться? Ну, и мы решили: поедешь со мной в Красноярск. У нас там Енисей — мощная река! А зимы холодные, снежные. Так что будет у нас теперь три сына. И будешь ты у нас теперь, Паша, сибиряк!

Было у отца три сына. Два умных, третий дурак. Вот я третий — дурак-то — и вышел. Но, может, ему просто не сказали про Гуль?

— У меня сестра есть. Ей восемь лет. Вы нас обоих заберете?

Не знаю, зачем я это спросил. Я ведь уже понял, что не будет он с нами жить в нашем доме. У него там жена и дети, зачем им всем сюда переселяться? А я, тем более — один, вовсе не планировал уезжать из нашего города.

Алексашин как это услышал — сразу глазами заморгал и фотографии свои начал быстро-быстро со стола собирать.

И говорит:

— Ты только пойми меня правильно, э-э-э-э... сынок... Это ведь совсем другое дело, да? У нее, наверное, свои какие-то родственники есть? Твоя сестренка может в гости нам приезжать. Когда вы подрастаете. А пока и звонить можно будет, и письма писать, да?

Да, Дурак я. Ремонт, ремонт...

Елена Игоревна со мной отдельно разговаривала.

— Не надо на меня так смотреть. Паша, я тебе не враг. И советов, как тебе поступить, давать не буду. Скажу только, что подумать еще раз — не помешает. Насильно никто в Красноярск тебя не

отправит: ты уже большой, тринадцать лет, и по закону твое согласие нужно. И еще скажу, что для тебя это шанс построить жизнь по-другому. Сейчас вас обоих ждет детдом, а там хотя бы у тебя будет нормальная семья. Стоит ли тонуть обоим, подумай? Просто — подумай еще раз. Чтобы потом не пожалеть о поспешно принятом решении.

Я сидел и думал насчет «тонуть». Вот я уезжаю в Красноярск, и на следующее лето мы на море. Все Алексашины и я. И вот в аквапарке я с ними развлекаюсь — скатываюсь с большой красной горки вслед за этими моими младшими братьями.

Я-то плавать умею. А Гуль не умеет. Обычно летом на реке мы с ней просто плескались у берега, я быстренько сплаваю туда-сюда, а потом пасу Гуль. Она визжит и брызгается. А прошлым летом Гуль научилась прыгать в воду с моих плеч. Только ее сразу надо вытаскивать, потому что если не подстраховать — может воды наглотаться. И я подумал: опять ведь не научил ее плавать! Это лето, считай, прошло впустую, но следующим летом...

Однажды зимой Кира позвала меня на каток. А в тот день Гуль со своим классом ходила в кукольный театр, мама была занята, у бабушки подскочило давление, и мне надо было встретить сестру у театра и привезти домой. Я так Кире все и объяснил, а она недовольным голосом сказала, что я слишком много нянчусь с сестрой. И что я для Гуль как будто сразу и мама, и папа. И что надо когда-то жить и своей жизнью тоже...

Потом я ехал с Гуль в троллейбусе, и она пыталась мне рассказать про кота из сказки, про то, какой у него был хвост и сапоги, как страшный людоед превращался в мышь:

— И в зале стало темно-темно, и все испугались, а я не испугалась, я догадалась, что сейчас он будет превращаться!

А я на нее прикрикнул, чтоб замолчала. Мне, мол, это все неинтересно, и вообще я устал... Я был злой, потому что мне на каток хотелось, а не про дурацкий кукольный спектакль слушать. Гуль тогда обиженно засопела, но все равно не отстала:

— Мне же совсем немножко осталось! В общем, людоеда в темноте унесли, а вместо него принесли мышь — я сама видела. И кот эту мышь съел. А не людоеда!

Интересно, что сказала бы Кира сейчас? Опять бы повторила, что у меня нет никакой своей жизни? Заявила бы, что нельзя так глупо портить свое будущее? А ведь я могу ей позвонить и послушать, что она скажет: Алексашин, уезжая, положил мне на телефон кучу денег... Он положил эти деньги, чтоб я звонил ему в Красноярск — когда захочу. Ему пока что я не хочу, но Кире — очень хочется. Я по ней соскучился. Только лучше отложу звонок на потом, чтоб никто не мешал.

Гуль

Паша часто про меня говорит: «Память девичья!» И раньше говорил: когда, например, я не могла вспомнить, что нам задали на дом. Но тогда можно было позвонить Мише и узнать: по математике задачки и примеры на странице сорок шесть, по чтению — страница тридцать восемь.

А теперь я уже который день пытаюсь вспомнить Мишин телефон, и никак не вспоминается. Последний раз я звонила ему еще в мае. Ну и почему у меня «девичья память»? Сами подумайте, может ведь человек за три месяца забыть номер телефона! И вообще мне его помнить было не надо: он был у меня в блокнотике записан. Этот блокнотик мне как раз сам Миша и подарил — на Новый год. А я ему тогда подарила чернильную ручку с драконами. Нас в школе заставляют писать чернилами, говорят, что так меньше устает рука и красивее почерк.

Зачем человеку красивый почерк, непонятно: все равно уже есть компьютеры. Правда, у Паши почерк очень красивый — но только когда он сам этого хочет. А когда не хочет, то у него почерк прочитать невозможно. Я однажды нашла у Паши толстый ежедневник, в котором он писал дневник. Не тот дневник, который в школе, а про свои мысли и дела. Я туда заглянула и ничего не поняла: так мелко и неразборчиво было написано.

Ну да, я знаю, что чужие дневники и письма читать нехорошо, только я ведь и не разобрала ничего. Листала его, листала, все искала, чтобы хоть чего-нибудь понять. Разобрала только кое-где «Кира». Это девочка, которую Паша любит. Я-то знаю, что он ее любит, но Паша не сознается. Однажды я его спросила прямо в лоб, а он меня балдой обозвал. Нет, не просто балдой, а любопытной балдой. Почему-то когда речь заходит о его Кире, Паша становится ужас каким грубым. Вот не знаю: это признак настоящей любви или наоборот? В общем, он там писал о своей Кире, но ничего больше, кроме имени, я разобрать не сумела. И вдруг, где-то уже в середине ежедневника этого, вижу — на одной странице так крупно посередине написано, прямо печатными буквами. Я обрадовалась, что сейчас-то точно прочитаю.

А там оказалось написано: «Гуль, ты свинка, не смей читать мой дневник, немедленно положи его на место, а то я тебе уши оборву!»

Вот какой умный у меня брат: заранее знал, что я могу сунуть нос в его дневник. Только грубый очень. Сам он свин!

Паша пишет шариковой ручкой, а нас заставляют писать чернильными. И у всех чернильные ручки одинаковые, черные с серебряными колпачками. Такие всем родительский комитет купил. Потеряешь свою — а у Софьи Тимофеевны в шкафу еще десять запасных лежат, точно таких же. У нас на первой парте сидят Егор и Лиза. Лиза свою ручку все время грызет — прямо весь колпачок у нее во вмятинах от зубов. И Егор тоже грызет, но Лиза просто так, а Егор только на математике. Вот однажды они свои ручки перепутали и долго разбирались, где чьи отпечатки зубов. Как сыщики. Правда, смешно?

Я хотела, чтобы у Миши была не как у всех, а особенная ручка, и подарила ему на Новый год синюю, с китайскими драконами. Такую ручку ни с чьей не спутаешь. И Миша ее берег, не терял.

А блокнотик, который мне в ответ подарил Миша, был с мягкой обложкой, красный, и на нем на каждой страничке в уголке нарисована какая-либо зверушка: то белочка, то зайчик, то бурундучок. Я даже попыталась в нем вести дневник, как мой брат, но мне еще трудно писать много — я не очень хорошо пишу. А в короткую запись все мои дела не поместятся.

Мой красный блокнотик остался дома. И я уже два дня сижу и представляю его первую страницу: там был Мишин телефон. Первые две цифры помню, а дальше — никак.

Дело в том, что у Паши теперь есть сотовый. Вернее, он у него и раньше был, только денег на нем не было.

Но вчера приезжал Пашин папа. Оказывается, у нас с Пашей какие-то разные папы. То есть кто мой папа, я до сих пор не знаю, может быть, у меня его вообще не было. А Пашин папа живет в Сибири. Мне воспитательница сказала, что он собирается Пашу к себе забрать.

Этот дяденька, который его папа, как раз приехал, и Паша пошел с ним знакомиться. А меня почему-то не взяли. Наша дневная воспитательница. Ирина Викторовна, посадила нас играть в лото. А я волновалась, что мне ведь тоже надо пойти с этим папой познакомиться — вдруг он мой папа тоже?

Но Ирина Викторовна начала надо мной смеяться.

— С чего бы это у вас с Пашей быть общему папе? Вы ж не похожи совсем! Ты на себя в зеркало-то когда смотрела последний раз?

Непонятно, при чем тут зеркало: ' Я в зеркало смотрелась утром, когда зубы чистила. Как всегда.

Так я Ирине Викторовне и сказала. А она мне:

— Теперь уж такая у вас жизнь, каждый сам за себя. Я слышала, что Пашу его отец собирается забрать в Сибирь. А ты ему чужая. Брат твой с отцом уедет, а вот где твои родственники, никто не знает. Так что ты в детдом готовься.

Я подумала секундочку и сказала ей, что она дура. Просто дура, потому что никогда Паша от меня не уедет.

А Ирина Викторовна сказала, что я хамка.

Все уже лото побросали и только слушали, как мы с ней разговариваем. Тем более что мы уже не разговаривали, а орал. И на этот ор пришла Елена Игоревна, директор. Она очень незаметно пришла, просто я глаза поднимаю — а она стоит за спиной у Ирины Викторовны. И глаза у нее сердитые и блестят. Может быть даже, она там уже давно стояла, с самого начала. Елена Игоревна плечами пожала:

— Что-то громкое лото у вас получается!

А потом позвала меня ей помогать. Потому что я аккуратная, а ей надо наклеить на папки белые бумажечки. Я думала, она на меня злится, что я воспитательницу душой обозвала, а она, кажется, даже не слышала этого.

Так что все остались с Ириной Викторовной играть в лото, а я пошла в кабинет директора и стала там клеить на папки белые бумажки. Я клеила и представляла, что это на большие пустынные поля падает снег — все поле серое-серое остается, а посередине белый квадратик: снег. А когда я все наклеила, Елена Игоревна стала меня чаем с пирожными угощать.

Я как раз третье пирожное надкусила, и тут Паша за мной пришел. Он ходил своего папу провожать. Было уже поздно, скоро ужин. Я есть нисколько не хотела, я пирожными наелась. А Паша, он сладкое не любит. Особенно когда голодный. Тогда он вообще не может сладкое есть. Ему бы надо было дать бутерброд с колбасой, но, наверное, у Елены Игоревны бутербродов не было. Так что Елена Игоревна ему просто чаю налила. И говорит:

— Значит, решил?

А он ей отвечает:

— Он сказал, что будет писать и звонить.

Я пирожное отложила и спросила Пашу:

— Ты в Сибирь не поедешь?

А Паша сидит и ложкой в чашке с чаем крутит.

Зачем крутить, если он все равно чай несладкий пьет?

Вот он сидит, думает о чем-то, ложкой звенит. Елена Игоревна на него смотрит. А я просто ответа жду. Вдруг все-таки эта дура Ирина Викторовна правду сказала?

И тут Паша ложку отложил и говорит сердито:

— Дожевывай пирожное, и пойдём. Елене Игоревне работать надо, а мы тут сидим, как в кафе.

— Не поедешь.

— Куда я без тебя поеду, чудовище! — проворчал Паша.

Это совсем не то, что вы подумали! Когда я однажды обиделась на это слово, он мне объяснил, что «чудовище» на самом деле — это «чудо» плюс «сокровище».

Папа, который только Пашин папа, а не мой, уехал, но положил денег на сотовый телефон. И теперь мы можем веем-веем звонить.

Только Мише я не могу — телефона не помню и блокнотик дома остался, такая проблема.

А Паша Кирочке своей любимой — может. Хоть пять раз в день.

Павел

— Добрый день! А Кира уже приехала?

— Да, Кируся дома. А кто ее спрашивает, могу я поинтересоваться?

— Это Павел.

— Минуточку, молодой человек.

— Але?

— Кир, привет! Это я. Узнала?

— Пашка! Привет! А чего так давно не звонил?

— Так ты ж сама все лето по Англиям! Я звонил, твоя мама сказала: «Кирусенька в языковом лагере». Ну и как тебе там, в языковом лагере, «Кирусенька»? Когда приехала?

— Не дразнись, в лоб дам! Дней пять назад приехала. Устала, жуть. Домой уже очень хотелось. Там все строем ходят, минутки свободной нет. Хотя язык, конечно, нормально поставлен.

— А я тебе сегодня на сотовый звонил утром, не дозвонился...

— Да я его посеяла. У меня новый сейчас.

— Номер скажешь?

— Конечно.

— А почему у тебя голос какой-то напряженный? Все нормально?

— У меня? Нормально. Я вот слышала, у тебя проблемы?

— Ну, если можно так сказать... проблемы...

— Мне Вале сказала, что у тебя мама... умерла, да?

— Да.

— И где ты сейчас?

— В ЦВС. Это в Заречье, знаешь, куда восемнадцатый троллейбус ходит? Вот там на конечной.

— На краю города... А что за зверь такой — ЦВС?

— Центр временного содержания.

— Типа временный детдом, что ли?

— Можно и так сказать.

— А потом что будет? Ты в школу-то нашу не вернешься уже?

— Пока не получается, Кир. Мы же в другом районе. В нормальном детдоме мест свободных нет, ну и мы с сестрой тут застряли. Неизвестно на сколько. И в школу придется ходить местную — в пашу ездить далеко. Не разрешают одним.

— Школа-то какая? Обычная?

— Школа как школа. Человеческая.

— Понятно... А мы к первому сентября готовимся! Придумали такой спектакль, с шекспировскими героями, Джульетта из «А» класса, Ромео из «Б», кучу всего смешного сочинили. Сейчас вот репетируем. Все на английском. Нам, правда, говорят, что малыши не поймут. Но пусть привыкают, малышки, тянутся за стариками!

— Джульетту кто играет?

— Да уж не я, сам понимаешь. Лизка Костельцева. А я текст сочинила, и режиссер тоже я. Лизка, конечно, тупая коза, но послушная и красивая, получается хорошо. Только текст никто пока толком не выучил, по пять часов каждый день с ними бьюсь.

— Здорово... Интересно было бы посмотреть.

— Вас, что ли, совсем не выпускают?

— Сказал же, одних — нет. Дохлый номер.

— Жалко. А то бы пришел, посмотрел...

— Ну да. Ты номер-то новый скажешь?

— Записывай. Девятьсот семнадцать...

— Кир, привет! Это я. Не занята?

— Ой, Паш, у нас репетиция, позвони попозже!

— А когда удобно?

— Ну... не знаю. Давай часов в восемь?

— Ладно, в восемь так в восемь. Пока!

— Пока!

— Кир, добрый вечер!

— Привет. Как у тебя?

— Нормально. А как твой Шекспир?

— Ой, сегодня было так прикольно! Костельцева такое отмочила! Мы репетировали, репетировали — три часа репетировали, и вдруг она говорит: «Не понимаю... Какой-то сценарий скучный у нас... Слушай, может, сделаем все-таки как у Шекспира? Пусть он меня как бы задушит?» Я спрашиваю: «Кто?!» А она: «Ну, этот... Ромео. Он же Джульетту задушил там, в пьесе, зато, что она с негром каким-то спуталась!» Прикинь, да, какой валенок? С кем приходится работать! Я ей говорю: «Дура ты, Костельцева. На самом деле она ушла в монастырь, а Ромео давай мучиться, быть ему теперь или не быть». Ну, в смысле, издеваюсь над ней. А она так обрадовалась: «Ах да, конечно, ту би ор нот ту би, конечно! Только кто ж тогда с негром-то гулял?» Я говорю: «Кто-кто! „Хижина дяди Тома“ с негром гуляла». А она: «Ты, подруга, меня не путай, что ж я, не знаю, что про Тома Сойера — это совсем другая книга!» Все уже ржут, катаются прямо, она одна ни фиги не понимает...

— Ну и зачем вам такая тупая Джульетта?

— Думаешь, настоящая Джульетта очень острая была? Зачем-зачем! Затем, что Костельцева самая красивая! У нее за лето волосы отросли, она их распускает, выглядит как принцесса из мультика. Из кого Джульетту делать, если не из нее?

— При чем тут волосы? Лучше бы они тебя Джульеттой сделали. Подумаешь, парик бы надела!

— Кто «они»? Я сама всем рулю! Ты не понимаешь, Паш, руководить же куда прикольней, чем Джульетту из себя строить. У тебя-то что нового?

— Ничего. Жизнь. Потихоньку.

— Расскажи хоть, как там у вас!

— Ну, Кир, обычно тут. Комнаты на двоих, на троих. Кормят нормально. За порядком воспитатели следят. Телевизор есть...

— А народ какой?

— Разный. Меня особо никто не трогает... Сначала народу было немного совсем, теперь стало побольше. В основном — малыши почему-то. Да, еще библиотека тут есть, правда, плохонькая. Все больше классика да всякие барто-михалковы. Для мелких, в общем...

— Понятно... Слушай, извини, мне ужинать пора. Позвонишь, угу?

— Угу. Пока. Приятного тебе аппетита!

— Пока!

— Кира? Привет, это я!

— А-а, Паш, привет! Слушай, извини, сейчас не могу говорить!

— Ну ладно. Пока!

— Пока!

— Кир, это я, привет! Хотел тебя с завтрашним первым сентября поздравить!

— Спасибо! Тебя тоже, Паш. Ой, знаешь, сегодня что-то так устала, никаких сил нет. Давай на днях созвонимся? Ну, или завтра позвони, ага?

— Ага. Пока.

Лялька

Я ведь все слышу. Слышу много такого, что нельзя рассказать Гуль. Раньше я могла поговорить с Шурой. А теперь мне бывает одиноко. Иногда.

Гуль думает, что я маленькая, а она рядом со мной — большая. Гуль укладывает меня спать. Кормит с ложки. Кутает от сквозняков.

Пусть.

С Шурой можно было разговаривать на равных.

Теперь не с кем.

Дети мои пошли в школу.

После обеда они оба сидят с очень скучными лицами.

Делают уроки.

Я спрашиваю Гуль:

— Как тебе там — нравится?

— Нормально, — отвечает Гуль. И смотрит на меня такими глазами, как будто все вокруг нее пыльное и дырявое. И всегда будет пыльное и дырявое.

Уже седьмое сентября, а Гуль не может мне ответить, как зовут ее учительницу.

— Не помню, — тускло говорит Гуль.

Но я-то вижу — учительница у Гуль неплохая. За четыре дня поставила Гуль три пятерки: по чтению, по математике и по рисованию. Думаю, специально, чтоб было веселее жить.

Только Гуль не радуется.

Сегодня утром, уходя в школу, она вдруг взяла меня со стола, на котором я сидела.

И отнесла к Елене Игоревне.

— Можно моя Лялька посидит у вас в кабинете? Ей скучно одной, пока я в школе.

Елена Игоревна — человек, которого я до конца не понимаю. Она редко улыбается. И тут не улыбнулась — только кивнула, не поднимая глаза от бумаг:

— Посади ее вой в то кресло. Или на журнальный стол.

Гуль посадила меня в кресло.

И пошла.

Елена Игоревна окликнула ее уже у двери.

— Твою Ляльку кормить обедом надо? Или сама придешь покормишь?

И смотрит на Гуль, будто говорит: отвечай скорее, у меня и без того дел по горло.

Гуль замешкалась с ответом.

Мне кажется, Гуль понимает, что кормить меня не надо. Понимает, что это игра.

— Я приду из школы и покормлю ее сама.

— Угу, — кивнула Елена Игоревна.

А потом добавила громко:

— Спасибо, до свидания.

Гуль повернулась удивленно.

— Сказать надо было: «Спасибо, до свидания», — проворчала Елена Игоревна.

— Спасибо, до свидания, — пискнула Гуль и быстро скрылась за дверью.

Ворчит Елена Игоревна. Не улыбается. Настроение у нее с утра плохое.

Оставшись одна, директор смотрит в стену. Там шкаф с папками, зеркало, стулья.

Потом переводит глаза на меня. И вдруг говорит:

— Только веди себя тихо. К посетителям с разговорами не приставай.

Я чуть не сказала возмущенно: «А когда я приставала?» Но спохватилась. Она шутит. Она не догадывается, что я все слышу. Наверное.

Потом Елена Игоревна работала, а я сидела и думала о своем. Ждала Гуль.

И день был как день.

А потом пришла Мира.

Кто это — Мира?

У моей Гуль есть друг Миша.

В той, прошлой жизни они сидели за одной партой.

Гуль скучает по Мише.

Она так и не вспомнила номер его телефона.

А Мира — это Мишина мама.

Я не знаю, какие они должны быть — мамы. У меня же очень маленький опыт насчет мам: я видела только одну — нашу. Наша была худая и маленькая, похожая на мальчика. Все время в джинсах. Все время хмурая. И острая — отовсюду торчали какие-то жесткие углы. Наша кидала меня вниз головой.

Но я не злопамятная.

А Мишина мама оказалась совсем другая. Я не буду вам ее подробно описывать, скажу только, что она совсем не похожа на мальчика. Совсем. Она вся такая мягкая, круглая...

Глаза у Мишиной мамы были очень испуганные.

И Елена Игоревна спросила ее, как было дело. Только попросила сперва успокоиться.

А я слушала.

И дело было так.

Мишина мама первого сентября увидела, что Гуль нет за партой рядом с Мишей.

Но в жизни бывают разные обстоятельства.

Бывает, дети болеют. И не приходят в школу первого сентября. Это плохо.

Бывает, дети не успевают вернуться с моря. И не приходят в школу первого сентября. Это хорошо.

Вчера было родительское собрание. Софья Тимофеевна собрала родителей, чтоб рассказать им про жизнь во втором классе.

И сказала, что Гуль теперь не будет учиться во втором «В». Потому что такая вот беда.

Мишина мама не спала всю ночь.

Я знаю, как это бывает у людей. Они ложатся в постель, чтобы не тревожить домашних. Но дышат так, что сразу ясно — не спят. Потом они идут на кухню и пьют там чай или кофе. Одну чашку, потом другую чашку.

И потом еще одну чашку.

И курят. Те, кто курит.

И кашляют.

И вздыхают.

И ходят туда-сюда.

И от их ночных мыслей темнота за окнами становится фиолетовой.

Наверное, и Мишина мама ходила так по своей квартире сегодня ночью и вздыхала.

И вот она пришла к Елене Игоревне.

Мишина мама хочет забрать Гуль.

— Потому что, вы понимаете...

— Я понимаю, да.

И Елена Игоревна кивает. Да, это несложно. Вот такие документы надо оформить. Три недели — и девочку можно забирать.

— Только давайте. Мира Александровна, хорошенько подумаем, прежде чем обнадёживать ребенка.

— Я уже подумала.

И Елена Игоревна снова кивает.

А потом смотрит на меня и качает головой.

И спрашивает Миру, Мишину маму.

— Вы знаете, что у девочки есть старший брат?

И Мира говорит много и торопливо: что трех детей ей не потянуть, это очень сложно, что мальчик — подросток и она его совсем не знает, что, конечно, она будет приходить к нему, и брать в гости, и как может помогать... Но взять к себе и мальчика ну просто никак нельзя, потому что трое детей — это очень сложно, и подросток, и... вы понимаете?

— Я понимаю, да.

А потом Елена Игоревна говорит:

— А если девочка не захочет?

— У нас с ней хорошие отношения, почему же она не захочет?

— Не захочет оставить брата одного.

— Я объясню ей, я уговорю. Мы же будем приходить к нему в гости.

— В гости, — кивает Елена Игоревна.

И наступает тишина, в которой я слышу, как тикают часы на стене.

А потом Елена Игоревна говорит:

— Просто чтоб вы знали...

Я слушаю историю о том, как приезжал Пашин отец из Красноярска. О том, как он хотел забрать Пашу. О том, какая там хорошая у него семья. Двое детей. О том, как Паша отказался ехать...

— Он что, Паше не понравился? — спрашивает Мира.

— Бот уж не знаю, понравился или не понравился. Вообще-то я сказала мальчику, что в их ситуации капризничать не приходится. Но он отказался. Мне сказал, что не хочет оставлять сестру одну.

— Тогда, может, позвонить отцу? — волнуется Мира. — Может, все теперь наладится: я возьму девочку и, когда Гуль переберется ко мне, Павел поедет туда?

— Мы взрослые, — усмехается Елена Игоревна. — Я почти уверена, что уговорю детей. С вашей помощью.

Мира расправляет плечи и вздыхаете облегчением. Елена Игоревна еще раз смотрит на меня.

— А ты что скажешь. Лялька? — говорит она неожиданно. — Видишь, поедет твоя хозяйка домой, и ты с ней в новый дом поедешь. И все у вас будет хорошо. Плохого было много, теперь будет хорошее.

Мира оглядывается, чтобы понять, с кем разговаривает директор.

— Это Лялька. Ее сегодня утром Гуль сюда принесла. Чтобы Лялька не скучала одна, пока дети в школе. Паша из-за Ляльки даже побег устроил, мы полсуток с милицией его искали... Когда

девочка узнала о смерти матери, она в себе замкнулась: глазки такие тусклые, молчит, ни с кем в контакт не вступает. Наш врач настаивал на том, чтобы ребенка психиатру показать, и я почти согласилась, думала — не отгадет сама, значит, придется сдаваться на милость медицины. И тут мальчик пропал. Каким-то образом проник в свой опечатанный дом и принес сестре эту вот игрушку. Сказал, что ее зовут Лялька и что сестренка с ней в прошлой жизни не расставалась. И представляете — помогло. Особо веселым ребенок, конечно, не стал — веселиться не с чего... Но психиатр теперь не нужен. У Гуль все нормально. Вот, пятерки из школы носит...

Елена Игоревна снимает очки, крутит их в руках и снова надевает:

— Ну что? Собирайте документы, в опеку сдавайте, звоните мне, если какие проблемы — держите меня в курсе. Екатерина Сергеевна в опеке быстро все сделает, не волнуйтесь... А сейчас у девочки еще два часа до конца занятий, и вряд ли вам есть смысл ждать. Может быть, заедете к ней в другой раз? Только уж тогда — после обеда, хорошо?

— Хорошо... А я ей немного гостинцев принесла, передать можно? — спрашивает Мишина мама, вставая со стула. — Скажите, Елена Игоревна, а вы зачем мне это рассказали?

— Что — это?

— Да вот это — про Ляльку.

— Ни за чем. Просто так, к слову пришлось.

И тут Мишина мама снова садится. И говорит быстро:

— А чтобы забрать двух детей — какие надо документы?

Елена Игоревна не удивляется. И отвечает:

— Такие же.

Потом Мишина мама уходит.

Елена Игоревна остается одна в кабинете. И вдруг подмигивает мне и улыбается.

Гуль

Сегодня с утра дождик. А у меня новые резиновые сапожки. Красные-прекрасные, с желтой подошвой. Это тетя Мира мне их купила, когда пошли дожди.

Тетя Мира приходит к нам почти каждый день. И Мишка с ней приходит. Иногда тетя Мира даже привозит его сразу после школы, а сама на работу убегает.

Мишку тут все уже знают. Елена Игоревна говорит в столовой:

— Девочки, покормите-ка этого брата-близнеца.

И ему наливают борща и накладывают макарон по-флотски. И наливают компот из сухофруктов.

Я теперь знаю, что самое невкусное в компоте из сухофруктов — это груша. А самое вкусное — это урюк.

Все копят косточки от урюка, а потом давят их дверью и едят зернышки. Мы с Мишей копим косточки вместе. Потом поделим пополам.

Мы иногда и уроки делаем вместе. Учебники в наших школах почти по всем предметам одинаковые, а задают нам, конечно, разное. Иногда ему задают то, что я уже вчера делала, а иногда наоборот.

Мы ждем, когда тете Мире дадут разрешение нас забрать.

В детском доме появились сразу четыре места, и нас с Пашей можно было перевести, но Елена Игоревна сказала, что теперь уже нас не отпустит и мы никуда не пойдём, а будем тут дожидаться, пока нас заберет тетя Мира.

— Паш, — говорю я, — у меня глобальная проблема. Когда мы будем жить с тетей Мирой — как мне ее называть?

— Какие варианты? — бормочет Паша, не поднимая головы от очередной толстой книжки.

— Ну... вежливо называть по имени-отчеству: Мира Александровна. Но мы будем жить вместе, и, наверное, удобнее звать тетя Мира.

— Гуль, не морочь мне голову. Называй как тебе удобно — хоть Марьяванна. Ты ведь уже зовешь Миру Александровну тетей Мирой? Ну и не умножай сущности сверх необходимости.

— Чего мне не умножать? Паш, а Паш, ты что сейчас сказал? Как это?

Но Паша уже снова занырнул в свою книгу — и нет его.

И вот сегодня совершается наконец то, чего я так ждала. У ворот стоит под дождем тети-Мирина синяя машина. В вестибюле толпа — всем интересно, как мы уезжаем. И я думаю: «Больше я сюда ни-ког-да не вернусь!» Елена Игоревна говорит Паше:

— С библиотекой рассчитался? Лучше у нас своих вещей не оставлять — и наших с собой не брать. Чтoб не возвращаться. Примета такая.

И меня спрашивает:

— Ляльку не забыла?

— Ну что вы, как можно! — улыбаюсь я.

Здесь по дороге к воротам — лужа на полдвора, ну и Паше — он в кроссовках — лужу пришлось обходить, а я в новых красных сапогах потопала напрямик.

И сели мы и поехали через весь город.

Я люблю ездить на машине, потому что очень редко мне это удается.

А тетя Мира говорит:

— Ребята, может, заедем в кафе и мороженого поедим?

Мы с Мишей с заднего сиденья как закричим:

— Ур-р-ра!

А Паша только головой кивнул:

— Хорошая идея.

Ели мы мороженое и толкались плечами так, что столик шатался, пока Паша на меня не прикрикнул, а тетя Мира на Мишку.

В Мишиной квартире я и раньше была. Там всего две комнаты. Ну и, конечно, еще кухня, ванная, коридор...

Мы с Мишкой сразу в его комнату играть пошли. А вечером тетя Мира достала для Паши раскладушку и сказала:

— Ну, пока разместимся по-походному. А дальше будет видно.

Я уснула на Мишиной кровати, Паша рядом на раскладушке, а Миша ушел спать в тети-Мирину комнату.

Ночью я проснулась и испугалась. Где я? В окно светил фонарь, и с улицы доносился шум машин. Интересно, куда люди едут посреди ночи? Я встала и прокралась к окну. Дождь так и не кончился, асфальт на проспекте был черный, и по нему куда-то неслись, неслись машины. Проехал троллейбус, потом два трамвая, освещенных, пустых...

У меня замерзли ноги, и я решила снова залезть в постель.

И тут обнаружила, что Пашина раскладушка пустая.

Брат оказался на кухне.

Они с тетей Мирой сидели у стола и пили чай.

— Гуль, что ты по ночам бродишь, да еще босиком? — вскинулась тетя Мира.

А я сказала:

— Тетя Мира, а когда мы домой поедим?

Павел

В нашем доме на чердаке лежат связки журналов чуть ли не за пятьдесят лет. В нашем доме пахнет масляной краской в комнате мамы, черносливом и медом в комнате бабушки, леденцами в комнате Гуль, сушеным укропом на кухне, а когда топишь печи, пахнет дымком и осенними листьями. В нашем доме стоят в уголке за ширмой Люся, Нюся и Дуся — наверное, не понимают, бедняги безголовые, куда делась их любимая Шура. В нашем доме в окна террасы лезут черемуха и сирень, ирга и вишня, а из моей комнаты виден кусок сада, где растет старая груша. В нашем доме скрипят половицы, особенно в коридоре и бабушкиной комнате, и все время что-то шуршит: то ли это мыши шныряют, то ли старое дерево вздыхает, то ли Аристарх Модестович свои таинственные дела делает...

— Мира Александровна, моя главная цель в жизни сейчас — вернуться домой.

— Я не умею топить печь. Паша.

— И это единственное, что нам мешает вернуться домой?

— Паша, это для тебя — «вернуться». Ты хочешь, чтобы я вообще всю жизнь свою перевернула с ног на голову?

Ну да, Мира Александровна и так глобально изменила свою жизнь. И она ведь нам никто — просто мама Гулькиного друга.

Я на секундочку представил себе, что нас забрала бы из приюта мама Киры. Утром она будила бы нас: «Киру-у-уся, Пашу-у-уся, Гулю-у-уся!» Дикость какая. Смешно.

Не знаю, что еще сказать Мире Александровне. Я уже приводил аргументы, что в этой квартире нам всем тесно.

— Ничего, купим кровать-чердак, это здорово экономит место! — не сдавалась Мира Александровна.

— А представляете — у каждого будет своя комната?

— Но там удобства во дворе, снег зимой надо разгрести...

Там печка, а я даже не знаю, где покупают дрова! — голос у нее был почти жалобный.

— И я не знаю. Соседей спросим, — не сдавался я. — А удобства у нас не во дворе, а в пристройке, на улицу выходить не надо.

— В пристройке, — вздохнула Мира Александровна. — А тут я только что ванную комнату отремонтировала. Всю жизнь мечтала, чтоб у меня ванная была синяя с белым, с морскими мотивами. Такой кафель нашла — загляденье...

Тогда я выкатил свой главный аргумент. Я приберег его напоследок, потому что уверен — это очень серьезная и взрослая мысль:

— Мира Александровна! Потерпите всего пять лет. Через пять лет мне будет восемнадцать, и я смогу сам растить Гуль. Я узнавал, так можно. Оформлю опеку на себя, и вы будете совершенно свободны. Я вам обещаю. Всего пять лет. Но раньше мне не разрешат.

Она смотрела на меня с каким-то странным выражением.

— Тебе, Паша, будто не тринадцать лет, а сто тринадцать. У тебя свои-то интересы в жизни есть, или ты только нянчить сестру нацелен?

Я не сразу нашелся с ответом. А когда я не знаю, что сказать, я не тороплюсь, думаю. И самое лучшее — отвечать именно то, что подумал.

— У меня есть подруга Кира, — сказал я медленно. — Вернее, была у меня подруга Кира. Вот она тоже меня про это спрашивала. Почему-то меня все время про это спрашивают. Везет мне на бестактных женщин.

— На женщин ему везет! — хмыкнула Мира Александровна. — Ну ты хоть представляешь себе, как это будет выглядеть? Пять комнат у вас. Мне скажут: вот, улучшила свои жилищные условия за счет приемных детей!

И я понял, что она начала сдаваться.

— Вот об этом не волнуйтесь. Комнаты у нас небольшие. Печку опять же топить надо, а поленница во дворе. И удобства в пристройке. А вы им скажете, что тут у вас тут кафель — синий, морской, и горячая вода, и мусоропровод... Но мы рвемся домой. Получается, что вы только ради нас на такой ужас соглашаетесь.

— Правда, что ли, ужас? Ты все-таки определись, Паш, ужас там или прелесть.

— Сходим к нам завтра, сами все увидите, — обрадовался я.

— Идти так и так надо. Там же ваши вещи, зимняя одежда.

Двор-то, наверное, зарос за лето, а?

— Вытопчем! — засмеялся я.

Лялька

— Зачем мы туда поедем?

— Иди, спи, утром поговорим.

— Мам, я не хочу туда насовсем ехать!

— Миша, я устала. Два часа ночи. Иди спи. Утром поговорим.

— Утром ты будешь занята. И ты теперь меня вообще не слушаешь!

— Ну, слушаю. Заберись только на табуретку с ногами — дует.

Они разговаривают, а я сижу в кухне на подоконнике. Надо мной горшок с розовой геранью. «Оставь меня тут, я хочу посмотреть в окно, — сказала я Гуль. — Скоро мы вернемся домой, а я никогда не видела, как живут люди в городе ночью». Так что носом я упираюсь в холодное стекло. Из окна на самом деле немного дует. За стеклом, внизу — проспект с шумящими машинами. Никак не могу понять, куда люди ездят по ночам. Надо спать, а не кататься туда-сюда.

В стекле отражаются Мира и Миша. Тоже не спят.

Грустно мне.

Они ведь не знают, что я все слышу, получается, что я подслушиваю.

А подслушивать — нехорошо.

Вот тетку Любу я подслушала ненарочно. Противная она, эта тетка Люба. И жадная.

Завтра попрошу Гуль, пусть расскажет про меня Мире. Пусть Мира не думает, что я просто глупая мягкая игрушка.

Миша сидит, подбрав босые ноги на табуретку. Лицо у него злое и решительное.

— Почему мы должны переселяться?

— Там большой дом, Миш. Ребята привыкли в нем жить.

— Здрасьте. А я здесь — не привык? Я не хочу жить у себя дома? У меня тут своя комната была. Теперь стала не моя. Но ты вообще хочешь все бросить! Мне не жалко, что они живут в моей комнате. Я просто хочу остаться дома!

Мира сердится.

Я знаю — это неправильно. Но люди — всего лишь люди.

— Ты свинья! — говорит Мира. — Свинья, потому что у ребят и так ничего нет. У них мама умерла, у них ни одного родного человека на свете не осталось, ты это понимаешь? И они хотят хотя бы в свой дом вернуться. Маму не вернуть — так хоть домой. А ты... Ау тебя... У тебя все есть. И ты устраиваешь мне тут сцены!

Миша смотрит на Миру и молчит. И, кажется, готов заплакать.

Мира садится рядом с ним и обнимает его за плечи.

И говорит. Что они посмотрят. Что в том доме у него будет своя комната. Что они перенесут туда все его вещи, и игрушки, и книги. Что там сад, в котором можно играть («Ты же помнишь, Миш?») Летом в этом саду можно построить шалаш, и жить там, и даже ночевать. И быть индейским вождем. И там есть чердак, на который можно залезать и смотреть на улицу через чердачное окно. И пускать с чердака самолетики. Они будут перелетать через улицу. А зимой там надо топить печку. Это очень интересно — топить печку. Сидеть, смотреть на огонь и подбрасывать туда веточки. И можно завести собаку. Любую собаку, даже самую большую. А квартира — она же никуда не денется, правда? Сюда можно будет вернуться в любой момент. А там во дворе зимой будет чистый-чистый снег, и никто не будет его топтать, кроме нас. Утром выйдешь в школу — и оставишь на крыльце свой след, и никто его не затопчет. И еще можно лепить снежную бабу — ее тоже никто не ломает, пока нас нет дома. И еще...

Мишка уже спит, привалившись к Миримому плечу. Она берет мальчика на руки. Он тяжелый, ноги у него длинные. Мира осторожно выходит в коридор, стараясь не зацепиться за косяк двери.

Потом она возвращается на кухню. Включает радио. Тихо играет какое-то танго. Мира обнимает себя за плечи и кружится по кухне...

Гуль

Представляете, кого я сегодня на улице встретила. -1 Беллу Борисовну, маму Лидии Иосифовны, моей бывшей учительницы музыки. Сто лет ее не видела. Нет, конечно, на самом-то деле немножко больше года, но взрослые всегда так говорят: «Сто лет!»

Белла Борисовна катила перед собой большую коляску. Широченную такую коляску. А в коляске сидели близнецы!

Я, может, и постеснялась бы здороваться, но мне так хотелось посмотреть на настоящих близнецов! На самом деле их не отличить друг от друга, или они как в зеркале: где у одного справа родинка — у другого слева?

Поэтому я подошла и вежливо поздоровалась.

А Белла Борисовна мне и говорит:

— Здравствуй-здравствуй, детка!

У ее дочки, наверное, учеников столько, что Белла Борисовна боится запутаться в именах. Правда, зачем напрягать мозги: «детка» — и все тут.

Немного похоже на мою Шуру, она ведь тоже часто людей не звала настоящим именем. Только у Шуры были совсем другие причины.

Я попросила разрешения заглянуть в коляску.

Белла Борисовна обрадовалась, сразу остановилась и начала внуками хвастаться. Вот этот, говорит, справа, Яша, а слева, совсем наоборот, Левушка.

Яша и Левушка смотрели на меня одинаковыми круглыми глазами, но в остальном были совсем разные. У них даже щеки были разной толщины: у Яши потолще, у Левушки похудее. И шапки на них были разные. И я сказала Белле Борисовне, что никакие они не близнецы, не бывает таких близнецов. Белла Борисовна на меня почему-то обиделась и сказала, что я ничего не понимаю, а внуки у нее двойняшки. И Яше, и Леве полгода, но они друг на друга не похожи, потому что...

— Ты, детонька, еще таких подробностей не поймешь, вот вырастешь, будешь учить в школе биологию, и тебе объяснят.

Везет Лидии Иосифовне — у нее маленькие детки родились! Хорошо бы у нас тоже был кто-то маленький. Я бы с ним гуляла. Или с ними. Но маме на это даже намекать не было смысла. Она сразу говорила, что стара уже детей заводить, что она и нас-то поздно родила, надо было раньше, теперь вот у всех ровесников дети уже студенты, а у нее еще школьники...

А что такое «двойняшки», я очень хорошо понимаю, пусть Белла Борисовна не сомневается!

Мы недавно всей семьей снова ходили мороженое есть. Это у тети Миры такое лекарство от плохого настроения. Она, как загрустит хоть самую капельку, сразу идет в кафе и покупает себе шоколадное мороженое. Говорит, что это лечит любое плохое настроение, даже самое запущенное.

Я последние две недели ходим мороженое есть чуть ли не каждые два дня. Я ем фисташковое с миндалем, Миша фруктовое, Паша простой пломбир. Тетя Мира почему-то не волнуется, что у

нас заболит горло. Правда, она нам покупает всего по одному-два шарика, может быть, поэтому и не боится.

И вот сидели мы в кафе, я на свой шарик нацелилась, Паша, как всегда, одним глазом в книжку косил, Мишка рассказывал, что ему хочется телескоп на день рождения, тетя Мира слушала и кивала. Тут к нам подошел какой-то сумасшедший старик. На руках у него были перчатки с обрезанными пальцами, на шее — шарф с торчащими во все стороны нитками. Не совсем бомж, но очень странный старик, не домашний какой-то.

— Это все ваши дети, мадам? — спросил старик у тети Миры.

Так смешно — «мадам», как будто мы в Париже! А тетя Мира на «мадам» ничего не сказала, просто ответила: да, мол, все мои.

Но старик не отставал:

— Погодки или близнецы?

И на нас с Мишкой кивнул.

Мишка говорит:

— Какие же мы близнецы? Вы что, не видите, мы не похожи совсем?

А тетя Мира старику ответила спокойно:

— Нет, не близнецы, просто двойняшки.

А старик ей:

— Это очень хорошо, мадам, это прекрасно, мадам, когда в семье много детей. Дети, мадам, это главное жизненное счастье и богатство. Я, мадам, бедный человек, но не потому, что у меня нет денег, а потому, что я одинокий. И детей у меня нет и никогда не было. А вам, мадам, в жизни выпало феноменальное счастье, и вы должны это ценить.

— Я и ценю, — отвечает ему тетя Мира.

— Значит, вы счастливы, мадам? — продолжал приставать к ней старик.

Тетя Мира задумалась на минуточку, у нее даже ложка с мороженым в воздухе замерла, а потом мороженое в рот быстро сунула и ответила ему с набитым ртом:

— Счастлива-счастлива. Какие могут быть сомнения?

— Простите, если обеспокоил, мадам, — и старик поклонился. — Счастливый человек делится своей радостью. Вот если бы мне на поправку настроения...

Тетя Мира вдруг засмеялась:

— Я вам мороженого купить могу. Поправит это ваше печальное настроение? Мне помогает!

Старик вздохнул, посмотрел на нее почему-то укоризненно и ушел.

Паша книжку отложил и говорит:

— Мира Александровна, он что, попрошайничал?

— Будем считать, что в кафе просто нет мороженого того сорта, которое он любит. Потому он и отказался от моего предложения.

Паша плечами пожал и снова в книжку уткнулся.

А тетя Мира нам объяснила, что когда в семье дети-ровесники друг на друга не похожи, они называются «двойняшки». Вот так. Мы с Мишей теперь двойняшки. А Паша, получается, теперь не только мой, но и Мишкин старший брат. Только они очень мало разговаривают друг с другом — как-то стесняются, что ли...

Я все это вспомнила и решила с Беллой Борисовной поддержать светскую беседу, Паша всегда так называет вежливые разговоры, когда все друг другу говорят только приятное.

— Чудесные у вас дети, — говорю. — Не страшно, что такие разные, даже лучше: никто их путать не будет. Ведь это счастье, когда в семье дети, правда?

— Правда, детка, правда, — согласилась со мной Белла Борисовна. Поправила на внуках шапочки. И передала маме привет.

Ничего не знает.

Я вот что подумала: а ведь тетя Мира моложе моей мамы. И моложе Лидии Иосифовны. Может быть, тетя Мира родит нам маленького ребеночка? Только надо сперва с Мишей посоветоваться, не против ли он. Все же это его мама, а не наша. Может быть, Мише уже хватит братьев и сестер?

Павел

Когда мы с Гуль вернулись в нашу школу, мою сестренку встретили в классе так, как будто ее возвращение — общий праздник. Еще в середине сентября, когда стало известно, что нас, скорее всего, заберет к себе тетя Мира, весь класс написал Гуль письма, нарисовал рисунки. Все писали: ждем тебя, возвращайся. И учительница ее приходила. Меня увидела, тоже обрадовалась: «Здравствуй, Павел Васильевич! Ну как вы тут?» — глупый вопрос, но я понимаю, что ей больше нечего было спросить. Она хорошая, Гулькина учительница, так что я ей сказал, что мы тут ничего, нормально.

Я вернулся в свой класс тихо. Все делали вид, что ничего не случилось. Но опять-таки я понимаю: люди просто не знают, как вести себя в таком случае, что говорить. Поэтому ничего не говорят вовсе.

С Кирой мы почти не общаемся. Правда, она написала мне записку (очень глупо, можно было подойти и поговорить), спросила, на что я обиделся и почему я ее не замечаю.

А я ни на что не обиделся.

Просто весь сентябрь я сидел в той школе на окраине. Сидел в самом углу класса. Учителя меня не трогали, не замечали. Наверное, понимали, что я тут временно, и им не было до меня никакого дела. Сидит человек тихо, книжку под партой читает — кому он мешает? Никому. Я даже не спросил соседа по парте, как его зовут. Мне было все равно.

Вот тогда, в сентябре, точнее — в первую неделю сентября, я звонил Кире. Каждый день. Она разговаривала со мной очень весело и приветливо. Но ей все время было некогда. То у нее уроки, то ужинать пора, то репетиция, то еще какие-то дела.

Я ведь не дурак.

Я сел и подумал: жизнь у нас слишком разная. У нее Шекспир, а у меня впереди детдом.

И перестал звонить.

Потом выяснилось, что в детдом мы не поедим и скоро вернемся в свою школу. Но звонить Кире по этому поводу было как-то странно. А она сама мне не звонила.

Встретились мы в тот день, когда я вернулся. Если Кира и удивилась, столкнувшись со мной в дверях класса, то виду не подала. Сказала что-то типа: «О, и ты тут? Значит, будешь опять в нашем классе? Хорошо!»

И я согласился, что это хорошо.

Дом, пока нас не было, как-то отсырел, в нем стало пахнуть мышами и пустотой. Мира только вошла, и у нее прямо-таки лицо вытянулось, хотя она мужественно пыталась этого не показывать. Но я-то видел. Только еще я видел, что в доме все по-прежнему, все на местах. Так что я первым делом притащил дрова и начал топить — чтобы стало сухо и тепло.

Мишке идея переселиться в наш дом сразу же не понравилась, и сколько потом Мира его ни улещивала, сколько ни уговаривала, он все равно ходил надутый. Вот и сегодня он, явно недовольный, озирается по сторонам, бурчал: «Ну и что тут хорошего?» — только что мебель не пинал и дверями не хлопал. Мира в конце концов не выдержала, выволокла его на террасу и что-то сердито нашептала. Но тоже без особого толку.

Я пытаюсь к Мишке относиться хорошо. Конечно, он привык, что они с Мирой живут вдвоем. А мы ему чужие, лишние, хоть он и дружит с Гуль. Только дружить — это одно, а жить вместе — совсем другое. Так что я пытаюсь Мишку понимать. Хотя, если честно, он меня раздражает.

Гнев на милость Мишка сменил почему-то только когда увидел пианино в Гулькиной комнате. Дома у них пианино нет, говорят, брали напрокат, но потом Мишка музыку бросил.

А тут он пианино увидел и обрадовался. Подошел к нему, крышку открыл, на клавиши полюбовался, потом закрыл бережно и сказал уже без злости: «Ну что тут у вас еще, показывай!»

Я подумал-подумал и решил Мишку с Гуль на чердак отправить. Они там, конечно, извозились в пыли, зато не мешали нам с Мирой приводить дом в порядок.

Мира первым делом попросила:

— Консультируй меня, как печку топить.

— Да я сам буду ее топить. Мира Александровна!

Но Мира сказала, что ей тоже надо уметь. Мне немного неудобно учить взрослого человека, а Мира все время спрашивает меня, как тут у нас что принято. Где что обычно лежит, как все устроено.

Разместились мы вполне ничего. Я переселился в мамину комнату, Мишке отдал свою, Мире предложил Шурину.

— А я почти не умею шить, — огорчилась Мира, увидев Шурину машинку. — Разве что подол подогнуть и по прямой прострочить... Может, мне научиться?

Я только плечами пожал. Откуда мне знать, как для Миры лучше?

Словом, зажили мы потихонечку. Мире отсюда на работу куда ближе стало, выбегает буквально минут за десять до начала смены. Но вообще я заметил, что она довольно-таки неорганизованная: ничего у нее не получается сделать вовремя, как ни торопится — то и дело опаздывает.

Меня это сперва очень раздражало, потом я подумал: она уже взрослая, а взрослые люди не меняются.

Только у меня все время ощущение, что я за все отвечаю. Дом для Мишки с Мирой чужой, я очень хочу, чтобы им тут нравилось. И всячески стараюсь, чтоб у Миры почаще было хорошее настроение. Уроки чтобы мелкие делали вовремя и незаметно. Чтоб не орали громко, когда она телевизор смотрит. Ну и вообще.

Так мы прожили почти месяц. Но однажды вечером, в пятницу, когда малыши улеглись спать, случился у нас с Мирой жизненный поворот.

Я сидел на кухне и пил чай с печеньем. Печенье крошилось, и я держал его над блюдечком.

Зашла Мира. Налила себе чаю. Тоже взяла печенье. И начала его откусывать стоя, не присаживаясь к столу. Но крошки же! На пол сыплются. Я так и сказал:

— Мира Александровна, крошки у вас сыплются на пол, потом придут мыши, а вам же мыши, наверное, не очень нравятся?

Вежливо сказал, приветливо.

А она почему-то замолчала, печенье больше не ест, в руке держит и странно на меня смотрит.

Только губы у нее дрожат.

Потом она печенье на стол аккуратно положила и говорит:

— Павел, сколько можно?

...Третий человек говорит мне, что я веду себя как старик. Что я все стремлюсь держать под контролем.

— Это неестественно в твоем возрасте! — горячилась Мира, постепенно повышая голос. — Тебе тринадцать лет! Ты должен прогуливать уроки, пытаться тайком курить за школой, хамить взрослым, раскидывать по дому грязные носки и...

Вот если я еще буду раскидывать по дому грязные носки, тут начнется конец света. Так я и сказал.

А Мира вдруг как хлопнет по столу ладонью:

— Да перестань ты изображать из себя всехнего папу! Хватит! Взрослая тут я! Я за все отвечаю! Расслабься уже, просто живи!

А я не могу, когда на меня орут. И я так устал всем улыбаться.

— Что вы на меня орете? — заорал я в ответ. — Вот вы все время на работу опаздываете — я же к вам не лезу! Мне тоже много чего не нравится! Я же вас не переделываю! И вы ко мне не лезьте! Не нравится, ну и...

Я чуть не сказал: «...ну и валите отсюда!»

Вовремя остановился.

Только печенье взял и зашвырнул куда-то в угол кухни.

Потом мы немного постояли друг против друга. А потом сели к столу.

— Ну? — сказала Мира.

Я только вздохнул.

— Еще чаю будешь?

Мы просидели на кухне полночи.

— Когда я маленькая была, очень любила в окна заглядывать. Мне казалось, что там совсем иная жизнь, не такая, как у нас дома. Хотя у нас была вполне нормальная семья, ничего особенного. И еще мне очень нравились оранжевые занавески. Бредешь зимой из школы после второй смены — темно, холодно, а у кого-то сквозь оранжевые эти занавески свет на синюю заледеневшую улицу пробивается — теплый-теплый. И я думала: вырасту — заведу себе такие занавески. Чтоб идти домой и видеть издалека, как они светятся... И еще думала, что будет у меня все как у людей: муж, сын... и оранжевые занавески. Комплекта не получилось. — Мира грустно улыбнулась.

— Я тоже мечтал, что у нас будет как у всех, думал, мама выйдет однажды замуж...

— За Гулькиного папу?

— Да нет, у Гульки же не было никогда папы. Ну, то есть, в смысле...

— Угу, понятно, в каком смысле.

И тут я неожиданно рассказал про Кемаля. Так долго никому не хотел рассказывать, а Мире почему-то рассказал. Может быть, просто устал в себе это держать.

Ух как Мира рассердилась! Сказала, что я слишком много на себя беру. И что Гуль — не моя собственность. И что Гуль имеет право знать про себя все. И что не мне это решать. Правда, сердилась Мира почти шепотом, мы вообще разговаривали тихо.

А я сперва пытался спорить.

— Да зачем он нам нужен? Вот приезжал мой отец. Алексашин. Так кто он мне? Чужой дядька. Посмотрел на него — ничего в душе не дрогнуло, честное слово.

— Человеку нужны корни. Ты станешь старше — поймешь. Это в детстве кажется, что ты сам по себе и в центре вселенной. А потом видишь: ты связан с другими людьми тысячами ниточек, тут связан, там... И каждая такая нитка, если она оборвана, взрослым человеком воспринимается как очень горькая потеря. Я вот ругаю себя, что не расспрашивала своего деда ни о чем. Он умер, когда мне было всего двенадцать, и мне казалось — мир незыблемо так устроен: я, родители, дед... Сейчас о стольком бы спросила у него, а поздно.

— У нас-то с корнями все нормально! — гордо сказал я.

— Как будто ты знаешь свои корни! Кто у тебя? Мама и бабушка. И всё.

Нет, не всё.

Был еще профессор Тирсов, раскапывавший скифские курганы. Наш прадедушка. Была Лидия Сергеевна, Лидочка, наша прабабушка. Странно на самом деле называть ее прабабушкой — ей ведь, наверное, лет было меньше, чем Мире. И погибла она молодой. И еще была, кстати, Зина Соловьева. Тоже наша прабабушка, хотя мы и не родственники. Не было бы ни Гуль, ни меня тут, если бы не Зина.

Глаза у Миры заблестели.

— Да ты что? Это правда? Так можно ведь тогда много чего узнать! Наверняка в университетских архивах сохранились какие-то материалы о твоём прадедушке. Хотя бы портрет, а может, и еще что-нибудь.

— Разве нас пустят в архивы? Туда, наверное, только студентов или ученых пускают, а мы с вами кто?

— Кто? Люди, которым интересно!

— Мы с вами — просто люди. Мне скажут, что я ребенок. А вы вообще парикмахер, а не ученый.

— Да при чем тут парикмахер?

— Да при том! — сердито сказал я.

Не могу же я сказать Мире, что я считаю... Нет, конечно, у нас всякий труд почетен и все такое. Но все же...

Ну что такое парикмахер? Обслуживающий персонал. Какие у них, у парикмахеров, интересы? Сериалы да любовные романчики. Мира, конечно, хороший человек и, кстати, сериалы не смотрит, некогда ей... Что она читает, я внимания не обращал. Но вряд ли, к примеру, ей будет интересно разговаривать про Стейнбека или Умберто Эко. Я в Умберто Эко тоже мало что понимаю, но я пойму. А парикмахер — это предел. Потолок. Куда ей в архиве работать...

Ничего подобного я говорить не собирался. Но Мира как-то — слово за слово — вытащила из меня все это.

Я думал — опять рассердится. А она начала смеяться.

— Дурачок ты, дурачок, — говорит. — Маленький еще дурачок, мусора в голове навалом. Подожди-ка минутку.

Принесла из своей комнаты папку.

— Вот, смотри, если тебе так важны бумажки с печатями!

И кладет передо мной картонную книжечку. А там написано, что Мира Александровна Гуренкова... названного университета... социологический факультет... Гербовая печать.

Я на нее смотрю, баран бараном.

— А почему тогда вы парикмахером работаете?

— А нравится мне! — Мира пожалала плечами. — Учиться на социолога было интересно, а потом...

— Парикмахером, что ли, интереснее? — хмыкнул я.

— И нечего хмыкать. Знаешь, как нудно жить, когда у тебя многомесячный проект — и психуешь ты из-за него, и сроки поджимают, а он все тянется, тянется, конца-края нет, тягомотина такая... А у меня каждый день несколько раз — начатое и полностью завершённое дело. И красиво получается. Приходит ко мне тетка: волосы сосульками, от корней все пегое, лицо скучное, глаза тусклые. А через два часа — куда что делось. Веришь — и глаза начинают блестеть, и плечи тетка расправляет. И идет тетка домой — и кажется ей, что она почти Мерилин Монро.

Надо же, как далеко от архивов мы забрели.

— Хорошо, — вернулся я к началу разговора. — С архивами мы, допустим, разберемся. А дальше, посмотрите: кто наши с Гуль предки? Вот Тирсов, например. Это его дом. Вон там древняя груша у забора растет, так он с нее плоды, наверное, ел. Сто лет назад. Мы тут сидим, на этой кухне, и может быть, он так же сидел. И эти стены его видели...

Я запнулся, подумав, что где-то там, в темном углу у стены, возможно, сидит и слушает нас Аристарх, и уж он-то точно видел моего прадеда. С Аристархом у меня были отношения, как с Дедом Морозом — я и верил в него, и не верил.

— А этот турецкий скрипач, он всего неделю с мамой общался. И больше ни разу даже не видел! И она его. Какое ему дело до моей сестры? У него своя жизнь, у нас своя.

— А за сестру решать — ты имеешь право? Она вырастет, не зная, кто ее отец.

Наверное, это справедливо. Просто пока Гуль маленькая, мне трудно представить, что она станет взрослой женщиной и захочет знать о себе больше.

— Тогда я ей и расскажу. Когда вырастет.

— Паша, ты глупый? Что ты ей расскажешь? Ник в скайпе назовешь или даже имя? Ник сто раз сменится, а к имени нужна фамилия, адрес нужен... Нужен нормальный человеческий контакт! И потом, подумай, как этот Кемаль там нервничает — у него дочь, а он не может с ней увидеться, не может узнать, как она сейчас живет: ты комп вырубил, и привет.

— А он понятия не имеет, что у него дочь. Мама ему не сказала. И я не сказал!

Мира всплеснула руками:

— Час от часу не легче!

Словом, уговорила меня Мира Кемалю еще разок по скайпу позвонить. А потом вдруг спрашивает:

— Лет-то ему сколько, этому скрипачу?

И я сказал, что двадцать восемь.

— Надо же, — обрадовалась Мира. — Я его старше, мне тридцать. Вот и хорошо, а то со взрослым дяденькой мне было бы разговаривать страшно. Вдруг, думаю, ему лет пятьдесят, он лысый, умный и сердитый.

Мне даже в голову не приходило, что взрослые могут бояться каких-то еще более взрослых, я думал, взрослые — монолит, все заодно.

А когда мы, уходя с кухни, выключили свет, из того угла, куда я в сердцах зашвырнул кусок печенья, раздался торопливый шорох. Может, надо там молока оставлять?

Лялька

— Я немного полежу; Лялька, — говорит Гуль, Гуль болеет. Мы в доме одни. За окном день, но почти темно.

Однажды Паша при мне объяснял Гуль, почему так светло летом и так темно поздней осенью. Показывал картинки с круглой голубой Землей, желтым Солнцем, крутил на столе апельсин и мандарин.

Земля, оказывается, круглая, а Солнце больше Земли во много раз. Раза в два или три. Или в десять. Не помню.

Мне это неважно.

Круглая Земля мне ни за чем не нужна.

Мне нужно, чтоб было солнце.

Чтобы все в доме были веселые.

Чтобы утром на половицах — теплые солнечные квадраты.

Но за окном снег с дождем.

Снег вовсе не белый.

Он серый и сыплется с серого неба.

Но я уже знаю, что однажды небо станет белым и земля станет белой. Это днем. А ночами небо будет синим и снежная земля тоже синей.

Знаю, что в углу комнаты встанет елка.

И дети вытащат из старой картонной коробки и повесят на елку всех, кто там должен быть.

Мальчика-клоуна с флейтой.

Золотой месяц-серп.

Избушку, занесенную снегом, с крохотными оконцами.

Ватного цыпленка.

Двух детей верхом на санках. Нет. Правильнее сказать — на салазках.

Слона, несущего на спине раджу...

А пока — серая крупа, холодно, ветер, темно за окном.

И в доме темно.

У Гуль просто кашель. Это не больно. Но она начинает стонать во сне и открывает глаза, и я вижу, что ей плохо.

Случилось что-то еще.

Плохое.

У моей Гуль болит живот. Гуль плачет.

Она держится за живот, и лицо ее — как белесо-серый снег за окном.

Телефон лежит на столе.

— Гуль, — пытаюсь я докричаться сквозь ее плач, — Гуль, позвони Мире! Мира придет. Она поможет. Она знает, как быть!

Но глаза у Гуль пустые и мутные. Она мечется по кровати. На лбу у нее капли пота, и волосы прилипли к вискам. Я в отчаянии. Я не могу спасти Гуль. Гуль не слышит меня. Ей становится хуже с каждой минутой. Кажется, я кричу очень громко. И тот, кто появляется на мой крик, сразу все понимает.

— Аристарх. Я совсем о вас забыла.

— Плохо дело. Кажется, у девочки аппендицит.

— Что такое аппендицит?

— Вам не понять. Лялька. Для людей это очень опасно.

— Аристарх, вы же почти как человек. Позвоните Мире. Скорее позвоните Мире. Телефон на столе.

Аристарх в отчаянии заламывает руки:

— Да не могу я звонить! Городской телефон не работает. А сотовый... Не умею я пользоваться этими современными штуками. Не слушаются они меня.

— Почему?! Я не могу набрать номер, потому что я из фетра и шелка. И люди все равно меня не слышат. А у вас что за причина?

— Наверное, другой век, Лялька. Просто другой век.

И тогда я понимаю, что делать.

До Мириной парикмахерской десять минут ходу.

Я была там с Гуль.

Аристарх должен пойти туда.

— ...пойти туда!

В карих глазах паника:

— Я не отходил от дома дальше чем до края забора уже много десятков лет! И на улице зима... Да, на улице зима, а у Аристарха тоненький сюртучок.

— Там зима. Там холодно, там снег с дождем, там страшно. Там много машин. И много людей. Но Гуль плохо.

— Я пойду! Объясните дорогу.

Аристарх потрясен моим торопливым рассказом:

— Послушайте, там же раньше был двухэтажный дом с арками, на углу булочная! Всегда была булочная, много лет! И кованые балкончики на втором этаже. В 1915 году на балкончике над булочной сидела белая собачка и облаивала прохожих.

— Некогда ностальгировать, Аристарх! Была булочная, а теперь торговый центр, такой огромный стеклянный куб. Вам надо подняться на третий этаж и повернуть налево.

Аристарх поплотнее запахивает полы сюртучка. И вот его уже нет. Я слышу, как хлопает входная дверь. Гуль стонет. Я шепчу ей:

— Гуль, маленькая моя, сейчас, сейчас, все будет хорошо, потерпи, Гуль!

И еще тысячу каких-то слов я шепчу моей бедной Гуль.

Проходит тысяча секунд. И еще тысяча секунд. И еще.

Секунды кружатся, стучат в стекло ледяной крупой.

Звонит телефон. Но Гуль, кажется, не слышит звонка. Она плачет и мечется по кровати.

И снова бесконечно тянется время. Снег в окно. Стон Гуль. Мой шепот.

А потом опять хлопает дверь.

Вбегает Мира.

И сразу — вихрь. Она прикасается губами ко лбу Гуль. Ставит ей градусник. Звонит в скорую. Отправляет смску Паше. Собирает какие-то бумажки. Кладет в пакет Гулькины тапочки и халат. Все сразу.

Лицо Миры закрыто на все замки. Губы сжаты. Она все время смотрит на часы. Гладит Гуль по плечу. Берет за руку.

Я вижу, как в комнату пробирается Аристарх. И прижимается продрогшей спиной к теплой печи. И кивает мне.

А Мира его не видит. Она смотрит на беленую стенку печи пустыми глазами. И не видит, что у печи греет иззябшие пальцы маленький домовой.

И тогда я понимаю, как это было.

Я понимаю.

...Испуганный домовой бежит, увязая в мокром снегу, уворачиваясь от сапог и ботинок, шарахаясь от проносащихся мимо машин.

Из-под колес его обдаёт потоками грязной ледяной воды, в ушах у него шумит, и он несется, почти зажмурившись, прямо по улице до угла, потом направо, потом опять прямо. В двери, которые открываются перед людьми сами, он умудряется прошмыгнуть, пристроившись к чьей-то ноге. Эскалатор с ужасным железным скрежетом ползет вверх. И Аристарх прыгает на движущуюся лестницу, дрожа от холода и страха, но понимая, что времени всего ничего. И еще одна лента эскалатора...

И вот зеркала, и музыка, и жужжание фена, и шелест воды... И Мира, и в руках ее блестят стальные ножницы.

Аристарх дергает Миру за край фартука, вскакивает на тумбочку, топает ногами, прыгает прямо перед ней, стучит кулаком по столу, по зеркалу, зовет Миру...

Но Мира не видит его. И не слышит.

Только по лицу ее вдруг пробегают неясная тень. Она достает телефон и звонит. Потом говорит своей напарнице, что Гуль болеет и девочка дома одна и почему-то не подходит к телефону. И это нехорошо.

Напарница успокаивает Миру: наверное, девочка просто спит. Спит и не слышит.

Аристарх изо всех сил толкает лежащие на краю тумбочки ножницы. Ножницы с лязганьем грохаются на пол. Мира испуганно поднимает их. По лицу видно, что ей страшно. Нет, она должна быстренько сбегать домой. Тут близко. Если все нормально, она сразу вернется.

— Чует мое сердце, что-то там не так, — говорит Мира, надевая куртку и с трудом попадая в рукава.

И вот она уже далеко. Она бежит по улице, все быстрее и быстрее. Ей почему-то кажется, что надо торопиться.

Аристарх не может ее догнать.

Да это уже и не важно.

Он шлепает по лужам. Снег забивается ему за воротник. Он промок до костей. Машины его теперь почти не пугают. Он идет и бормочет, что липы вдоль улицы зачем-то срубили, это плохо. Оштукатуренную ограду больницы на той стороне по-прежнему красят в две краски — голубым и белым, это хорошо. Народу снует туда-сюда много — это нормально. Людей становится на свете больше. А домовых меньше. Так всегда. Из века в век.

Он кашляет и дрожит.

Но вот и крыльцо дома. Дверь. Прихожая. Вот и печка.

И я успеваю сказать Аристарху, что он молодец. Что он герой. Успеваю посоветовать, чтоб он переоделся в сухое. Если есть во что переодеться. А то заболает.

Больше я ничего не успеваю.

Потому что приезжают врачи — два веселых толстых доктора с мягкими руками. Они мнут Гуль живот, поворачивают ее, а потом говорят: «Госпитализируем, собирайтесь. Все собрано? Молодцом, мамочка!»

Один из них заворачивает Гуль в теплый плед, и Гуль на носилках уносят из дома. А Мира, прежде чем переступить порог, оглядывает комнату еще раз.

И спохватывается.

Берет меня и сует в пакет с вещами. Туда, где халат, и тапочки, и какие-то документы. В пакете тесно, я почти сложена пополам, колени упираются в нос.

Но я думаю: это правильно. Это хорошо.

Гуль

Теперь у меня в животе зашитая дырка. Мне разрешили живот, а потом зашили иглой и ниткой. Называется операция аппендицита. Сейчас немного больно. Но не очень.

Так что мы с Лялькой стали немного похожи. Ее ведь тожешили иглой и ниткой.

Когда меня привезли в больницу, я все время плакала. И даже плохо помню, как что было. Но доктор, который делал мне операцию, — не тот, который приезжал на скорой помощи, а совсем другой доктор, Владимир Степанович, начал со мной разговаривать. Спросил, первый ли раз я в больнице. И рассказал, что сам он попал в больницу, когда ему было три года.

— Я тогда без мамы лежал. А тебя мама ждет. Хорошо.

На минуточку я вдруг подумала: а что, если это правда и меня на самом деле ждет там, в палате, мама...

Но я же знаю, что докторам надо говорить только правду — иначе они не смогут правильно тебя лечить. Мне рассказывали в школе про одну глупую девочку. Она однажды съела целую пачку таблеток. И ей стало плохо-плохо. Доктор начал ее спрашивать, как было дело. А девочка решила не сознаваться. И тогда доктор начал лечить ее от всего на свете. На всякий случай. И эта девочка лежала в больнице потом сто лет, пока ее от всех на свете болезней не полечили. А когда она из больницы вышла, все ее подружки выросли и состарились, у них были уже внуки и пенсия. А девочка так все и была в третьем классе. Конечно, она потом уже не ела таблеток без спроса.

Так что я сказала доктору правду. Что моя мама умерла. И поэтому она меня нигде не ждет.

Доктор кашлянул под маской и согласился со мной.

Что да, наверное, если так, то мама меня, наверное, не ждет.

По-моему, он не знал, что бы мне еще сказать. Люди вообще очень смущаются, когда я им говорю, что у меня мамы нет. А когда говорю, что нет бабушки, никто не смущается. Потому что бабушек у многих нет, а вот чтоб не было мамы — это редко.

Потом доктор спросил, умею ли я уже считать до ста.

— А когда вы будете мне живот ножом резать? — спросила я. Потому что меня очень интересовал этот вопрос. И еще — не забудут ли они сделать специальный замораживающий укол.

Я в одном мультфильме видела человека-лед. И думала: вот сейчас мне сделают укол, и от места, куда уколют, побегут такие голубые замораживающие иголки. И я сама стану человек-лед. А льду — ему, конечно, не больно. Только как же тогда они будут резать меня ножом?

Но доктор посмотрел на меня с обидой:

— Что ты все: ножом, ножом... Я тебе кто — разбойник с большой дороги, чтоб маленьких девочек ножом резать? Операции делают скальпелем!

И я сразу поверила. Вы только послушайте, как это звучит! «Скальпель» — сразу ясно, это такой специальный ножик для того, чтоб резать замороженных больных людей.

— Ты меня со своими замороженными людьми совсем заболтала, — сказал доктор. — В общем, так: лежи и считай до ста. Умеешь?

Конечно, умею. Я уже во втором классе.

— Великолепно! — обрадовался доктор. — Считать надо вслух — начнешь, когда мы тебе скомандуем. И прислушивайся к себе: как замерзнет у тебя левая пятка — так, значит, все готово, заморозка сработала и операцию можно начинать.

И я лежала и прислушивалась к себе, но пятка никак не замерзала. Или замерзала?

— Считай, — напомнил доктор.

Я начала считать:

— Один, два, три, четыре...

А потом слышу:

— Открой глаза.

Живот как болел, так и болит. И мне так неудобно: хвалилась, что умею считать до ста, а сама сбилась. И тут мне сообщают, что уже всё. Операция давно закончилась.

— А почему у меня живот как болел, так и болит? — возмутилась я.

— А ты как хотела? — удивилась медсестра.

Понятно — как! Если мне лечат, например, больной зуб, он перестает болеть. Для того и лечат.

Но медсестра мне объяснила:

— У тебя в животе дырка, ее зашили нитками. Конечно, она еще какое-то время поноет, а потом боль пройдет. Скоро пройдет. Потому что аппендикс, который болел у тебя внутри живота, доктор удалил.

Когда я вернулась в свою палату, меня там ждала тетя Мира. И очень радовалась, что я жива и почти здорова. Что меня ей вернули.

Лялька меня тоже там ждала.

Доктор Владимир Степанович сказал, что как только мой живот зарастет окончательно, так меня и отпустят домой.

И начала я выздоравливать и дырку в животе зарастивать.

Со мной в палате еще один мальчик Колечка лежал, маленький, пять лет всего. И мама его тоже все время была тут.

Покая в этой больнице нам никакого не давали. То градусники с утра, то заходят полы помыть, то перевязка, то обед. А то обход.

Как-то вечером медсестра сказала, чтобы завтра мы с утра были готовы к профессорскому обходу. А утром прибегают и кричат:

— Ой, мамочки, что это у вас тут делается! Профессорский обход уже начался, давайте-ка скорей убирайте все с тумбочек, что не положено!

Я сначала подумала, она так причитает — ну, знаете, как люди, когда пугаются, вскрикивают: «Ой, мамочки!», по потом поняла — она так тетю Миру и Колечкину маму называет: «мамочки».

Колечкина мама сразу вскочила и начала хлопотать — убирать с тумбочки вещи.

У них там — как у нас примерно, то же самое. Телефон сотовый лежит, альбом, чтоб рисовать, карандаши, чашка, ложка, книжка... Колечке мама читает сказки про Братца Кролика и Братца Лиса.

А у меня на тумбочке — книжка про цирк, такая толстая, оранжевая. Мы ее только-только читать начали, как этот профессорский обход случился.

Только тетя Мира почему-то ничего с тумбочки убирать не стала.

Колечкина мама как все с крышки смела внутрь и по сумкам распихала, так сразу и увидела, что моя тетя Мира ничего такого не делает.

— А вы почему не убираете вещи?

Тетя Мира засмеялась:

— Зачем их убирать? На тумбочке все чисто, все в порядке. Так что не понимаю, чем наши цветные карандаши, чашка с цыпленком и книжка могут ранить душу профессора.

Но Колечкина мама не сдаётся:

— Так ведь велели! Так ведь профессор!

— Ну так и что, что профессор? Он ведь нам не генерал, да и мы тут не солдаты!

А я лежу и думаю: медсестра профессора боится, Колечкина мама боится. Только мы с тетей Мирой почему-то не боимся.

Тут двери отворяются и заходит толпа народу. Всю нашу маленькую палату сразу заполнили. Впереди всех красивая женщина. Лицо у нее старое, а волосы молодые — яркие такие, рыжие-рыжие, как у лисы. Рядом с ней наш врач Владимир Степанович, а сзади еще разные врачи и медсестры. И та медсестра, которая нас профессорским обходом пугала, тоже. Владимир Степанович стал про меня этой красивой женщине рассказывать, а она радовалась, что у меня все хорошо. Потом она мой живот сама хорошенько рассмотрела, спросила, как я себя чувствую, что делаю, и сказала: отлично, скоро пойдешь домой.

И пошла Колечку рассматривать.

А на обратном пути опять около меня остановилась:

— Это кто у тебя? Зайка или медвежонок?

— Это Лялька. Я думаю, что она не медвежонок. И, наверное, не зайка. Но точно не знаю.

Никто не знает, только моя бабушка знала.

— Тайна? — улыбнулась женщина.

— Да, — кивнула я. И мне захотелось еще немного с ней поговорить:

— А скоро профессор придет? — спросила я эту рыжую женщину.

— Это какой профессор? — подняла она брови. — Это такой высокий, толстый, с бородой и круглым пузом? В очках?

Я подумала секундочку и решила, что да, наверное, профессор именно такой.

— Его тут все ждут второй день. Ждут и боятся. А он не приходит почему-то.

— Боятся, говоришь? — хмыкнула рыжая женщина. — Ну да, понимаю. Я его тоже боюсь. Бородища такая, очки — как тут не испугаться?

А сама вокруг посмотрела. Наверное, ей неудобно, что она в такой толпе одна боится. Только я-то точно знаю, что медсестра тоже трусит.

— Не бойся, детка, сегодня он уже не придет. И завтра не придет. А там, глядишь, тебя и выпишут. И пойдете вы с мамой домой.

Ей я почему-то не стала рассказывать, что у меня нет мамы.

Потом все ушли.

И тогда я тете Мире говорю:

— Жаль все-таки, что профессор не пришел. А ты его совсем-совсем не боишься?

— Совсем-совсем, — улыбнулась тетя Мира.

Тетя Мира гораздо красивее Колечкиной мамы. И смелее. И читает вслух интереснее: Колечкина мама бубнит все на одной ноте, ничего не разберешь, а тетя Мира читает так, как будто это радиоспектакль, только музыки не хватает.

И еще я тетю Миру теперь называю на «ты».

Сперва так нечаянно получилось, само.

А потом я с Пашей посоветовалась, когда он приходил нас навещать, и Паша сказал, что когда люди познаются в беде, они сближаются, и тогда можно без церемоний.

Как люди познаются и что такое церемонии, я не совсем поняла, но Паша добавил, что мы с тетей Мирой прошли вместе через смертельный риск и все закончилось хорошо — никто никого не подвел. И поэтому пусть будет на «ты».

Павел

Настоящей почтой я, кажется, и пользоваться-то не умею. Мне ни разу в жизни не приходило бумажное письмо, только мейлы.

Я сунулся однажды разбирать мамины бумаги и наткнулся на письма, которые она получила, когда еще в школе училась.

Странно, мама никогда не отличалась сентиментальностью, а туг дурацкис пожелтевшие конвертики с космонавтами и сиренью, внутри листки из тетрадок, шариковой ручкой исписанные...

Девчонки есть девчонки — ничего содержательного, конечно, в этих письмах нет, ерунда одна. Полстранички крупным почерком: как учишься, я учусь хорошо, ездили с мамой и папой на дачу, что еще писать, не знаю, напиши мне скорей длинное письмо, жду ответа, как соловей лета... И куча ошибок. Авторы разные — какая-то Таня, какая-то Ириша, а вот соловей и лето у всех в конце письма непременно. Картиночки какие-то, ребусы переписаны, загадки, лишь бы страницу занять.

И вот смешно — сами толком ничего написать не могут, а недуг в ответ длинного послания. Хотя, конечно, письма получать приятно. Да и что за развлечения у них тогда были? Со скуки загнешься.

Интересно, мама такую же чушь в ответ писала или поумнее? Вот бы прочитать!

Я показал тете Мире дурацкие письма этих маминых одноклассниц, но она посоветовала не особо насмеяться над бедными глупыми маленькими девочками.

— Знаешь, совсем еще недавно мне с высоты сегодняшнего моего возраста казалось, что сама я в детстве была очень умная, а сейчас подростки большей частью какие-то отсталые. Нет, ей-богу, пройдешься по вашей даже школе, послушаешь — ну просто гоблины вокруг какие-то. Полторы извилины в три ряда. А потом я решила перечитать супервозвышенный дневник, который вела лет в четырнадцать, потому как помнилось, что были там прочувствованные размышления о прочитанном, о людях, даже о политике... «Былое и думы», не меньше! Ох, лучше было не портить себе сладкие воспоминания! Наивная девочка, примитивная до крайности, с важным видом изрекающая всякие благоглупости. Еще и с ошибками. Орфографическими. «Не» с глаголами слитно, например.

— Это ты, тетя Мир, к чему? К тому, что я сам дурак? Ну дурак, я не обижаюсь!

— Да нет, ты, может, Паш, и не дурак и сильно еще поумнеешь с годами. А девочки эти сейчас все выросли и стали...

— ...достоинными членами нашего общества, труженицами и матерями семейств, — подхватил я.

— Ну и к чему эти яркие иронические ноты, мудрый отрок?

— А к тому эти яркие иронические ноты, что выросли, небось, из этих тупеньких девочек тупенькие тетки, которые сидят в конторах и разгадывают сканворды. Да гороскопы еще читают. И ничего им больше не надо и не интересно.

Тетя Мира посмотрела на меня и вздохнула:

— Вот откуда у тебя такой снобизм, Паша?.. По десятилетней девочке нельзя сказать, что из нее вырастет. И, кстати, зря я тебе тогда полезла показывать свой диплом. Поддалась на провокацию, тоже начала прыгать, махать флагом, что я, видишь, документ имею и заслуживаю того, чтоб мальчик-семиклассник английской школы не считал меня заведомо тупым быдлом. А не надо было показывать. Вот жил бы ты и мучался: ах, как же это так, я такой тонкий, а приходится жить с таким безграмотным простонародьем! — Бросила конверт, который крутила в руках, и ушла, сердито хлопнув дверью.

Но я, слава богу, уже немного научился разбираться в особенностях тети-Мириного характера. Вспыхивает она всегда практически моментально: только что улыбалась — и вдруг ты ей уже идейный враг: «Да как же можно такое говорить, не краснея! Тебе не стыдно?»

Сейчас-то я на самом деле покраснел. Честное слово, не по себе стало. Далась мне эти тетки. И с наездами на тети-Мирину профессию я, конечно, глупо поступил.

Получилось, раз диплом, то другое дело?

Ладно, надо идти мириться.

Мириться с ней нетрудно, потому как тетя Мира не только вспыльчивая, но и отходчивая. Скажет: «Нет, ну правда?», посмотрит на меня непреклонно и тут же сама начинает смеяться.

Вообще с ней хорошо. Интересно и разговаривать легко. Нет, я не к тому, что не хотел бы вернуть нашу жизнь на год назад, но вот именно сейчас все могло бы быть куда хуже.

Кстати, тетя Мира мне посоветовала без особой нужды в мамины бумаги не лазить.

— Ты, конечно, большой, но еще не совсем взрослый, а мало ли что там вывалится на тебя, на неокрепший ум. У взрослых жизнь сложная и разнообразная. И не всегда «правильная». Станешь постарше, вернешься к маминому архиву.

На том и порешили.

И письма я обратно в ящик маминого стола положил.

А на днях мне самому пришло настоящее письмо.

От Киры.

Я, когда это понял, занервничал. Ну что она может мне написать? Мы ежедневно здороваемся. И она не виновата, что все так получилось. И нет, я не обиделся, ну правда, Кира, я не обиделся.

Я крутил письмо в руках и думал, что, пожалуй, тоже теперь заведу себе архив. Бумажный.

Положу туда это письмо. Потом мои дети будут его доставать и читать, что там написано.

Кира своим твердым и мелким почерком писала мне:

Я сначала хотела сунуть в письмо какую-нибудь многозначительную длинную цитату про жизнь и судьбу. Чтобы ничего не сказать, но чтобы можно было понимать и так, и этак. Трудолюбиво перелистала всю Бронте, всего Честертона. Ничего не нашла.

Потом я написала девять вариантов этого письма.

Все не годились.

Наверное, надо пойти простым путем.

Паша!

Я очень огорчена, что мы перестали общаться.

Я не хотела тебя ничем обидеть.

Но если чем-то обидела, я не нарочно.

Я много еще могу сказать, но лучше это сделать в реальном разговоре.

Если он будет.

Я хочу, чтобы все стало как раньше.

Простым путем Кира пошла, как умела. Простое письмо просто написано просто по-английски. Кто-то скажет — понты, я буду считать — чтобы братишки-сестренки случайно не прочитали.

Все равно это первое бумажное письмо в моей жизни. И вообще-то любовное. Хотя и без сердечек, пронзенных стрелами. Ну и пусть в каждой строчке — я, я, я... Все равно я рад.

Нет, я не хочу ничего обсуждать, я хочу просто пойти с ней в кафе после уроков и посидеть там, как раньше. Только завтра. Сегодня Мира работает в первую смену, а Гуль болеет, и мне не хочется оставлять ее надолго одну.

Я не сказал про это Кире, сослался на то, что к нам придут газовщики — смотреть, как можно подключить газ. Ведь у половины улицы газ есть, труба мимо ворот проложена, а мама и бабушка газ почему-то не подключали.

Это вранье, газовщики приходили вчера. Но ведь скажи я правду, опять бы услышал от Киры, что слишком нянчусь с сестрой и мало думаю о своих интересах.

Но врать ничего не пришлось, потому что аппендицит — это не кашель и сопля, это опасно, очень. У Гуль аппендицит, Мира случайно домой зашла и успела скорую вызвать.

— Представляешь, врачи сказали, что еще немного и мог бы начаться перитонит, — шептала Мира в трубку.

— Сейчас-то она как?

— Сейчас ее оперируют, я сразу позвоню, как операция закончится. Паш, Мишку там успокой. А то он не знает ничего. И покорми его. И уроки чтобы... Ну неважно.

— Не дергайся, все будет в порядке, и покормлю, и уроки сделает.

— Ой, а я тебя с какого урока сорвала?

— Брось! Тебе больше думать не о чем?

День у нас прошел тихо, мы с Мишкой сидели по своим углам — я его не трогал, он меня тоже. Потом мы проголодались.

За ужином я налил Мишке щей, а сметану велел из холодильника самому достать. Я ему не официантка. Сам рядом сел, книжку перед собой поставил, читал за едой — зачем время терять.

Мишка горбился над тарелкой, хмурый такой, носом шмыгал, ложкой по дну стучал и, когда суп глотал, так чавкал и втягивал в себя жижу, что я дергался.

Стук, бряк, шмыг...

Вот чувствую — раздражает он меня.

— Ешь потише, — сказал я.

— Отстань, — огрызнулся Мишка.

И, кажется, еще громче начал суп в себя засасывать.

— Хватит чавкать, ты не свинья над ботвиньей, — повторил я очень спокойным голосом.

— Тебе что, мешает?

— Мешает.

— А мне твоя книжка мешает. Ты не... не дятел в библиотеке! Надо есть, а не читать.

Мы ложки на стол положили и уставились друг на друга.

И вижу я — Мишка меня боится. Во-первых, я старше. Во-вторых, мамы-то дома нет. В больнице его мама, с Гуль.

Мишка струсил, но глаз не отвел. А потом протянул руку и закрыл мою книгу. Надо же, какой наглый.

Я книгу снова открыл.

— Ну, — говорю, — рискни, закрой еще раз.

Мишка сидел-сидел, дышал-дышал как паровоз, а потом вскочил и пулей в свою комнату кинулся. И ши не доел. Вольному воля, хочет сидеть голодным — пожалуйста.

И тут раздался звонок на мой сотовый. Мира позвонила. И сказала, что все хорошо. Что Гуль вот — лежит и передает привет. И дала Гуль трубку, в которую сестра слабеньким голоском сказала: «Пашечка, я живая, не скучай!»

Ну и все. Отбой тревоги. Мира сегодня будет ночевать в больнице, с Гулькой, я ее заверил, что у нас все нормально. А что — в самом деле нормально, не подрались же мы. Мира хотела еще с Мишкой поговорить — он на днях сотовый свой посеял, так что ему самому она позвонить не могла, но я почему-то наврал, что сейчас не дома — за хлебом иду. Вернусь, мол, через полчаса — перезвони нам. А лучше перед сном.

Врать я не люблю, так что глянул в запасы и решил, что хлеба и впрямь не мешает купить. Крикнул в сторону Мишкиной двери, что я в магазин, и потопал.

Можно было купить буханку в ларьке на перекрестке, но мне хотелось побродить подольше, так что направился я в супермаркет. И там просто слонялся по рядам, глазел на товары, пока на меня

не начала коситься охрана. Тогда я быстро кинул в тележку хлеб и молоко и пошел к витрине с журналами. А тут уже можно зависнуть надолго, пока все интересное не перелистал — к кассам не двинулся.

Домой шел тоже нога за ногу.

Еще на крыльце мне почудилось, что из дома доносится какая-то музыка. Мишка телевизор смотрит, наверное. Мешать ему не хотелось, так что я зашел тихо, стараясь особо не греметь дверью.

Но музыка доносилась из бабушкиной комнаты — а там телевизора не было. Там стояло старенькое пианино. Старенькое, но вполне рабочее: когда Гуль начала учиться музыке, пианино настроили, подлатали.

На пианино играл Мишка. Сидел и играл, как настоящий музыкант, что-то тихое и грустное. И нот перед ним не было!

Мишка хорошо играл.

Потом у меня под ногой скрипнула половица. У бабушки в комнате самые скрипучие половицы. Мишка подскочил, крышку захлопнул, на меня обернулся. Лицо перепуганное, как будто я его не за игрой на пианино, а за поджогом дома застукал.

И вдруг я вижу, что глаза у Мишки красные.

— Чего ревешь-то? — спрашиваю.

Сейчас ответит: «Я не реву».

А он мне говорит:

— Ничего. Из-за Гуль переживаю. И по маме скучаю.

И вижу — ляпнул он и сообразил, какую глупость сказал.

То есть я-то понимаю, что он имеет право скучать по маме. Во-первых, он маленький еще. Во-вторых, я же, скотина, не дал ему с Мирой поговорить, он даже и не знает, как там дела. Но сам Мишка явно думает, что сморозил страшную бестактность. Потому что у меня мамы вообще нет, а он, представьте себе, по своей к вечеру скучать начинает.

Ну и скучает. Имеет право вообще-то.

Вон, он за мою сестру переживает. А кто она ему? Никто. Просто подружка.

Так что я быстро сказал, что там, в больнице, все нормально.

Мишка кивнул. И мы опять уставились друг на друга, как идиоты.

Потом Мишка буркнул:

— Если тебе опять мешают звуки, которые я издаю, то извини.

А руки в кулаки зажал.

Упрямый осел, да и только.

Но я чувствую — злость у меня совсем прошла.

Да, не любит меня Мишка, так ведь и я его не очень-то. Я хотел в своем доме жить — он в своем хотел. Может быть, он до сих пор по своей квартире скучает и злится, что из-за нас чуть не все в жизни поменять пришлось. Маленьких особо не спрашивают, им приходится идти туда, куда взрослые ведут. На Миру он наезжать не может, вот и психует. И тут я вдруг сообразил: а Мишка музыкой-то сейчас не занимается! Раньше он к Гулькиной частной учительнице ходил, в том году вроде бы в студию при ДК Маяковского, а теперь там который уже месяц капремонт во всем здании.

Я ему это и сказал: что он классно играет и жалко, что музыку бросил.

Мишка плечами пожал так по-взрослому и говорит:

— Я бы не бросил, но студия пока не работает. Можно было пойти в музыкалку, только самая близкая от нас — это пять остановок на троллейбусе, а потом проспект переходить. Маме водить меня некогда, а одного отпускать она боится.

— Слушай, а ведь у вас дома даже пианино вроде не было?

— Не было. Мы три месяца в прокате брали, а потом мама с соседкой договорилась, соседка — совсем глухая старуха, а инструмент у нее хороший. Мы с мамой даже хотели пианино у нее взять и к нам, значит, перекатить — тоже как будто напрокат. Но соседка не согласилась. Сказала: мне скучно, а тут хоть я и мало чего слышу, но все-таки живой человек заходит, играет...

Вот еще проблема — пять остановок на троллейбусе.

— Да буду я тебя возить в эту твою музыкалку, делов-то, — сказал я.

А Мишка — просто железный дровосек какой-то. Если и удивился, то виду не показал. Только уточнил деловито:

— Два раза в неделю. Пять остановок — до Белинского.

— А если тебя туда не возьмут посреди учебного года?

— Ну, не возьмут — так не возьмут...

— Мишка, — говорю, — хочешь, я тебе картинки покажу?

Он плечами пожал. Давай, мол, твои картинки, посмотрим.

Не сильно разговорчивый парень. Может, когда мне казалось, что он на меня дуется, дело было просто в том, что он разговаривать не любит?

Я свою последнюю папку достал — у меня там листов восемь было изрисовано — и на полу работы разложил.

И что-то даже разволновался. Как на вернисаже. Хочется, чтоб ему понравилось.

Мишка молча уселся на корточки, потом на коленки переместился и так, на коленках, пополз вокруг моих листов. Долго ползал. Я даже не выдержал, сказал ему, что он одну работу вверх ногами смотрит. А Мишка только отмахнулся: так, говорит, интереснее.

Потом встал и сказал солидно:

— Умеешь. Много такого?

— Полчердака, — отвечаю.

— Потом покажешь?

— Договорились.

Мишка стал вместе со мной листы с пола собирать и вдруг спрашивает:

— Щей там не осталось? А то я не доел, умираю с голоду!

— Может, лучше бутербродов с колбасой, чаю? И я бы с тобой за компанию не отказался.

Мишка на бутерброды согласился, но продолжал настаивать на щах! Первый раз в жизни вижу человека, ну, то есть не взрослого человека, который по собственному желанию ест вареную капусту. Я бы такое чудище в цирке показывал.

Только он ложку ко рту поднес и остановился:

— Я что, правда ужасно чавкаю?

— Как бегемот с аденоидами, — отвечаю.

— Понимаешь, мне так вкуснее.

— Понимаю, — говорю.

— А тебя сильно раздражает?

Я плечами пожал. Конечно, не самая светская привычка так с супом расправляться, но желание стукнуть Мишку ложкой по лбу у меня уже прошло.

— Постараюсь потише, — деловито сказал Мишка. И занялся щами. Потише у него не получилось, так что я за звуками его позднего ужина чуть Мирин звонок не пропустил.

А когда Мишка трубку у меня выхватил, он тут же и сообщил Мире, что Паша будет его в музыкалку водить. Можно подумать, у Миры есть силы его музыкальные планы выслушивать. Небось сказала ему: «Потом-потом, дома поговорим».

Тем более что она завтра уже домой зайдет, вещи взять и еды приготовить. Гуль уже можно на пару часов одну оставить.

Лялька

Мы дома.

Гуль жива и здорова.

Дома тепло.

На улице совсем зима.

И скоро Новый год.

Люди готовят подарки — втайне друг от друга.

Они положат их под елку, потом будут разворачивать и удивляться.

Но я-то знаю их секреты.

Мишка дарит маме шерстяные носки. Представляете, он связал их в кружке рукоделия! Станный мальчик — умеет вязать. Гуль он дарит купленные на карманные деньги стеклянные бусы, а Паше — акварельные краски. Такие подарки — потому как Мишка переживает, что в доме холодные полы и у мамы мерзнут ноги. И считает, что Гуль красивая и ей пойдут красные бусы. И хочет, чтобы Паша рисовал не только черно-белые картинки, но и цветные.

Гуль дарит Мире свалянного из войлока ангела, Паше — диск с английским словарем, а Мишке — дорожные шахматы. Она хочет, чтобы ангел стоял у Миры на работе у зеркала. И очень уважает Пашу за то, что он так хорошо знает английский. А с Мишкой она собирается играть в шахматы — Паша обещал научить.

Паша дарит Мире ее портрет. И очень волнуется, что получилось непохоже: ведь рисовать с натуры он не мог. Мишке он дарит диск «Лучшая фортепианная музыка». А Гуль — сборник сказок. Потому что Паша думает, что в доме должны висеть не только портреты потомков Тирсовых, но и портреты Гуренковых тоже. И Паша любит покой и порядок: ему приятно представлять, как малыши будут читать сказки, слушая хорошую музыку.

Мира дарит Паше папку, в которой она начала собирать Тирсовский архив. Она нашла фотографию Тирсова в сборнике, посвященном истории университета, отсканировала ее и напечатала. Тирсов — серьезный, в очках и с бородкой. Паша наверняка будет всматриваться — что в нем от прадеда. В папке есть еще библиография тирсовских статей, которые Паша сможет

прочитать в университетской библиотеке. Ну и еще она дарит Паше теплый свитер. Мишка получит от нее конструктор, а Гуль — игрушечный, но вполне работающий микроскоп. Розового цвета в розовом чемоданчике. Мира долго разведывала у Мишки, чего хочет Гуль, а у Гуль — какой именно набор нравится Мишке. Надеется, что поняла все правильно.

К Мире пришла подруга, и Мира рассказывает ей, что дети найдут под елкой еще два подарка. Из Турции прилетела огромная кукла, а из Красноярска... из Красноярска пригнал перевод. «Купите моему сыну что посчитаете нужным», — написал Алексашин.

— Я купила Паше от отца большую коробку пастели, — говорит Мира подруге.

Подруге, кажется, охота внушить Мире, что та совершила подвиг, а заодно и выпытать у нее: ну как, тяжело? очень тяжело?

Но Мира режет шарлотку и говорит совсем про другое.

— Вот ни тот, ни другой папочка не понимает, что эти двое — семья. Каждый видит только своего ребенка. Хотя... правильно, конечно.

— Ой, ну ты все же героиня! — удастся наконец подруге вставить давно приготовленную реплику. — Трудно, да?

— Я тебя умоляю! — Мира со звоном бросает на стол нож. — Я тебя умоляю, какой, к черту, героизм? У меня что, был выбор?

— Ну как? — теряется подруга. — Ты же могла их не брать?

— И как не брать? Или одну взять, а Пашку там оставить, да?

— Ты, конечно, их любишь, да?

Мира смотрит на подругу непонятым взглядом.

— Видишь, дело в чем... Хорошие они ребята, да. Только я тут — все время как в гостях. И дети у меня — вот будто пришли в гости приятели Мишкины. Но гости как? Погостили и ушли. А тут знаешь — не уйдут, надо привыкать. Я знаю, что мы все привыкнем. И уже легче стало. А все равно и им, и мне хочется своей семьей побыть. Вез чужих.

— Они тебе чужие? Я думала, они тебя мамой зовут...

— Опомнись. Их мама умерла — полгода еще не прошло. Какая я им мама-то?

— А как же тогда? — растерянно хлопает глазами подруга.

— А так. Просто жизнь. Думать потом. Сейчас вот: пироги печь, пуговицы пришивать, на родительские собрания ходить. Ах да, еще топить печку и расчищать снег. Некогда, просто некогда сидеть и раздумывать о тонкостях трепещущей души. Ты ешь, ешь шарлотку.

Мне кажется. Мира и Шура нашли бы общий язык. Шура тоже говорила, что думала.

Павел

Лыжня петляет между берез по краю оврага. Кира несется вперед, только палки мелькают, я стараюсь не отставать, но мне скучно. Кира любит кататься на лыжах, а я не понимаю, что за интерес бежать друг за другом, глядя в затылок, когда даже поговорить невозможно.

Только я не могу сказать этого Кире. Почему-то все время получается так, что я ей вру. Вот и сейчас — не скажу, что устал, что надоело, что предпочел бы повернуть домой.

Лыжи сами угадывают мои желания. Съезжая с небольшого пригорка, я как-то неудачно поворачиваю, меня встряхивает на кочке, и я валюсь в снег. Крепление сломано.

До Киры не докричаться — ее уже и не видно.

Я лежу на спине и отдыхаю. С серого неба летят мне в лицо крупные хлопья снега, и кажется, что так можно лежать долго. В тишине.

Слышен скрип лыж — надо мной появляется Кира.

Нет, Кир, я не вывихнул ногу. Просто сломал крепление. Как возвращаться? Не знаю. Не знаю я, Кира, как возвращаться! Шаг шагнешь с лыжни — и целина. Вставать и идти? Я не хочу вставать и идти — хочу просто лежать и смотреть, как падает снег. Нет, Кир, я не псих. Тогда ты уходишь? Уходи. Хорошо ли я подумал? Нет, Кир, я плохо подумал. Я вообще не хочу сейчас ни о чем думать. Да, да, Кира, пока.

Может быть, Кира права. Нормальный человек не будет лежать в снегу, в километре от человеческого жилья, на краю оврага, и смотреть, как опускаются сумерки.

Значит, я ненормальный человек. Только даже ненормальные люди через какое-то время замерзают.

Я встаю, собираю лыжи и палки.

Что теперь делать? До парковой аллеи, где утоптаный снег, полчаса идти вдоль лыжни, проваливаясь в снежную целину.

Если напрямик через овраг, те же полчаса — и я выйду на зады пашей улицы. Так же, по снегу. И буду дома.

Вниз в овраг я скатываюсь, увлекая за собой маленькую смежную лавину. А потом начинаю ползти вверх и вперед.

Полчаса прошло, но я все еще далеко от своего забора. Я уже было согрелся и снова замерз — ноги в ботинках заледенели, снег набился куда только можно. На другой стороне оврага нет даже проложенной лыжни, и снег там почему-то еще глубже, чем в парке.

Я просто иду и иду, таща с собой не нужные мне лыжи. Снегопад не прекращается, становится совсем темно.

И наконец я вижу старую грушу, навалившуюся на сломанный штакетник, засыпанные снегом кусты и свой дом. Окна бабушкиной комнаты светятся, отбрасывая на снег теплый свет.

Я прохожу последние несколько метров, бросаю лыжи на террасе.

И вдруг мне кажется, что в доме поет Шура.

Я стою в обледеневшей куртке, в раскисших ботинках на пороге Шуриной комнаты.

Гуль, примостившись на краю огромного бабушкиного стола, кромсает швейными ножницами какой-то лоскутик. Перед ней сидит Лялька в ожидании новой юбки, или накидки, или шарфика, или что там получится у моей сестры.

Мишка, забравшись с ногами в продавленное Шурино кресло, читает про Робинзона Крузо. Он не видит, конечно, что на спинке кресла сидит Аристарх Модестович. Аристарха никто не видит, кроме меня. И я не уверен — может быть, и мне он только мерещится оттого, что я устал и замерз. Аристарх недовольно качает головой, и я слышу, как он бормочет: «Адаптированный текст, сокращенный вариант, сколько повыкидывали важного, чтоб для удобства чтения слепить тоненькую книжку... Безобразие, безобразие...».

На одном окне уже висит новая штора — цвета густого прозрачного меда и апельсиновых корок, цвета старого кирпича и огня в печи.

Вторую штору Мира как раз подшивает, напряженно глядя на ползущую под гребенку Шурино «Зингера» ткань. По радио незнакомая старинная певица голосом, так похожим на Шурин, поет ее любимое танго. И Мира, с озабоченным видом склонившись над швейной машинкой, тихонько подпевает:

— ...Не жди признаний иных и трепетных слов... Светла, как вешние сны, моя любовь... Танцуй танго, мне так легко... Позволь поверить, что сбудется радость счастливых снов...

Хорошо, что я пошел напрямиком домой.

Дома тепло.

Танго Петера^[1]

Маска, маска, Не раз бывали мы вдвоем. Помню ласку, Лукавый взгляд в лице твоём, Ты смейся звонко и задорно, Должна быть милой, покорной, Кроткой, нежной, А взор пускай горит огнём. Скользи легко, Танцуй танго И слушай плавные ритмы Далеких и знойных стран. Где нет зимы, Но так, как мы, Не знают боли сильнее И глубже сердечных ран. Не жди признаний иных И трепетных слов. Светла, как вешние сны, Моя любовь. Танцуй танго, Мне так легко. Позволь поверить, что сбудется Радость счастливых снов.